

ГЕОРГИЙ ВОРОНИН • НА ФРОНТЕ ЗАТИШЬЕ



О РОДИНЕ • ПОДВИГАХ • ЧЕСТИ



ГЕННАДИЙ ВОРОНИН

НА ФРОНТЕ ЗАТИШЬЕ

О родине·подвигах·гестах





ГЕННАДИЙ ВОРОНИН

НА ФРОНТЕ ЗАТИШЬЕ

ПОВЕСТЬ

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
Москва — 1973

P2
B75

B **0732-151** **182-73**
068(02)-73

*Светлой памяти моего отца
воина-сталинградца Ворокина
Григория Васильевича посвящаю.*

А в т о р



РЕЙС В НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Никогда не видел такой багровой ночи. Над извилистой, крутобокой балкой, по которой осторожно, словно обнюхивая каждую кочку, пробираются самоходки, небо нависло раскаленной плитой. Плотные непроницаемые облака, освещенные отблесками громадного зарева, едва не задевают верхушки деревьев. Они роняют красные отсветы на глубокую, будто вырубленную в твердой земле колею дороги, на обледенелые скаты оврагов, озаряют с высоты лес, встретивший нас таинственным, настороженным молчанием. Там, где сосны неожиданно отступают, светло как днем. Это сполохи большого пожара, бушующего за высоткой: немцы зажгли Сосновку — село, растянувшееся по ту сторону леса.

Мы с Юркой неплохо устроились на комбатовской самоходке. Через жалюзи и сетку, прикрывающую мотор, с силой вырывается горячий воздух. Он раздувает полы шинели, ласкает колени, проникает в ботинки. Ноги в тепле. И остается только пониже пригнуться, спрятаться за башней от ледящего ветра.

— Тебя за провинность сюда послали, а за что меня? — ворчит Юрка, укутываясь плащ-палаткой поверх шинели. — На фронте наступило затишье. Полк отводят на отдых, а нас опять на затычку. Где же тут справедливость?

— Начальство знает, что делает, — отвечаю я без особой охоты поддерживать разговор.

Смыслова можно понять. Он недоволен, что после взятия Нерубайки — деревушки из десятка подслеповатых приземистых хат — ему не довелось хотя бы на денек остаться со штабом, попариться в бане, а пришлось отправиться в этот «рейс в неизвестность», как он окрестил его перед выездом.

Зато нам с лейтенантом Бубновым, который сейчас в машине, роптать не приходится: похоже, что накануне мы действительно провинились...

— Берите газик и бочки. Поедете за бензином, — сказал нам вчера командир полка, указав на карте-сотке крохотную деревушку.

— К рассвету вернуться, — поставил он в разговоре последнюю точку.

В общем-то, мы оказались дисциплинированными — к утру вернулись. Но без бочек и без машины: не доезжая деревни, напоролись на немцев. Старенький испытанный вездеход, расстрелянный немецкими пулеметчиками, сгорел как факел. А нас выручила лишь находчивость Бубнова.

К моему удивлению, полковник не похвалил лейтенанта. Наоборот. Выслушав его доклад, он мучительно долго сверлил нас через свои толстые окуляры пронзительным

взглядом, словно разглядывал наши печенки. Потом неожиданно отрубил:

— Выполняйте другое задание. Поезжайте с батареей старшего лейтенанта Грибана.

И вот мы упорно пробираемся по оврагам на какую-то высотку 202,5, на которой нам предстоит занять оборону.

Резко сбавив скорость и натужно гудя, машины одна за другой по-черепашьи выползают из балки и останавливаются на длинном пологом склоне, немного не дотянув до двугорбой вершины заснеженного холма.

Юрка взбирается на башню орудия, вытягивается в полный рост и горделиво оглядывает раскинувшееся впереди поле.

— Отсель грозить мы будем фрицу! — декламирует он, выбросив вперед руку в трехпалой зеленой варежке.

Я не удивляюсь, что Юрка забыл об обиде, которую высказывал минут пять назад. Это в его характере: никогда не известно, какая муха его укусит и в какое мгновение это произойдет.

Смыслов — старший сержант, командир отделения радио. Но, несмотря на такую должность, хохмит и шутит при всяком удобном случае, не стесняясь даже присутствия командиров. На отдыхе участвует в художественной самодеятельности — пляшет и читает стихи. Вот и сейчас на башне, словно на миниатюрной сцене, он начинает выбивать толстыми подошвами «танкеток» замысловатую чечетку — то ли согревается, то ли просто дурачится.

Плотный, круглолицый, с ухмылкой, которая редко исчезает с его лица, Юрка выделяет на стальной крышке люка танцевальные па с серьезным, озабоченным видом.

— Иди сюда, Дорохов. Погляди, красотища какая! — кричит он, не переставая двигать ногами.

Поднимаюсь к нему. Вокруг и в самом деле красиво. Вправо, влево, назад — отсюда все видно как на ладони. Прихваченная морозом земля затянута тоненькой снеж-

ной пеленой, под которой угадываются крупные борозды. Лес остается сзади. Заиндевевшие до синевы дубки и березы сбегают по крутым склонам вниз, в балку, охватывающую высоту полукольцом. Там, в низине, притихшие, оцепеневшие от холода деревья прячутся от пронизывающих ветров. За балкой на соседней высоте возвышается огромная соломённая скирда. А дальше, за полем, изрезанным небольшими овражками, бесконечной извилистой полосой темнеют лесные массивы. И все это подкрашено красноватым светом не утихающего за лесом пожара.

Спрыгиваем вниз на мерзлые кочки. Через передний люк вылезает Бубнов — командир нашего взвода управления. За глаза мы любовно называем его «лейтенантом первого ранга», потому что он настоящий моряк, а в самоходном полку оказался случайно: направили после госпиталя.

Худощавый, среднего роста, в зеленой шинели, которая застегивается не на пуговицы, а по-солдатски — на проволочные крючки, внешне лейтенант ничем не примечателен. От своих подчиненных он отличается лишь меховой офицерской шапкой да широким флотским ремнем — памятью о морской службе.

— Это ты наверху топал? — спрашивает Бубнов Смыслова.

Юрка отворачивается в сторону, словно что-то рассматривает. Затем принимает позу обиженного:

— Топают только лошади, товарищ лейтенант. А вальс-чететка — это, между прочим, искусство!

Шутливую перебранку между Смысловым и командиром взвода мне уже приходилось слышать не раз. Но сейчас Бубнов, видимо, не хочет принимать Юркин вызов.

— Ну и дорожка, — ворчит он, устало потягиваясь и расправляя затекшие плечи. — Я думал, гусеницы вывернут. На наших коробках хорошо по ровной дороге ездить. А когда гусеницы упираются в стенки канавы, их начисто может сорвать...

Бубнов вспоминает подобные случаи во время осеннего двухсоткилометрового марша самоходок. Юрка его поправляет, спорит с ним. Но в конце концов оба приходят к выводу, что механики-водители тогда отличились и следовало бы их наградить.

К машине подходят командир батареи старший лейтенант Грибан и начальник полковой разведки капитан Кохов. Они полная противоположность друг другу. Кохов — невысокий щуплый брюнет с припухлыми губами, крупным носом и юркими темными глазками, едва свтящимися из узеньких щелочек между ресницами. Когда он смеется, глаза его почти совсем исчезают, так как щелчки смыкаются. В такие минуты кончики его зеленых капитанских погон со сверкающими артиллерийскими эмблемами ползут вверх, плечи приподнимаются. И он чем-то становится похож на задиристого, нахохлившегося петушка.

Кохов один из самых молодых офицеров полка. Ему двадцать один. Даже удивительно — когда он успел «заработать» капитанское звание, дослужиться до начальника разведки полка.

Грибан года на два постарше. Высокого роста, могучий, широкоплечий. У него бронзовое от загара лицо с темными глубоко сидящими глазами, которые всегда смотрят внимательно, изучающе.

О комбате рассказывают, что в разгар боя он может скрутить сигарку, закурить и как ни в чем не бывало наблюдать за фашистскими танками, движущимися на батарею. Он любит подпускать их поближе. И, наверное, именно поэтому его наводчики сожгли «тигров» и «фердинандов» больше, чем три остальные батареи.

Сейчас комбат и начальник разведки всерьез озабочены.

— Ничего себе обстановка, — ворчит Кохов. — На гребешке полсотни саперов и больше никакого прикрытия. И вообще ситуация...

Оказывается, один конец балки, которая подпирает нашу высотку гигантским ухватом, уходит в расположение немцев. Но самое худшее, что соседнюю высоту, горбатящуюся слева могильным курганом, не обороняет никто. Только в полутора километрах отсюда начинаются окопы стрелкового батальона.

— К нашему штабу днем не пройти, — продолжает Кохов. — Дорога пристреляна немцами. Они бьют по ней из крупнокалиберных пулеметов.

— Значит, придется обороняться и на север, и на юг, и на запад? — бесцеремонно вмешивается Юрка в разговор офицеров. Кохов снисходительно косится на него и иронически усмехается:

— Смыслов как в воду глядит. Ему бы давно батальоном командовать.

Грибан, еще не проронивший ни слова, внимательно поглядывает на Юрку.

— Ты, Смыслов, после будешь прогнозы давать. А пока помолчи, — говорит комбат недовольным тоном. Он поворачивается к Кохову и Бубнову:

— Надо связаться по радио со штабом полка.

Это уже относится к нам обоим: радисты здесь только мы с Юркой.

— Чтобы связь была как часы! — кивает нам Кохов. — Волну не забыли?

Я знаю, Смыслов недолюбливает Кохова. Поэтому он всегда разговаривает с ним нехотя, несколько не стесняясь его капитанского чина. Так и сейчас.

— В какой коробке будем работать? — сухо переспрашивает Юрка.

— Идите в мою. Вон, крайняя слева. Там Левин за старшего. — Грибан указывает на ближайшую самоходку, возле которой вооружившиеся лопатами батареи уже роют окоп.

Наводчик Сергей Левин мой земляк — горьковчанин. Мы успели с ним подружиться: на фронте земляки схо-

дятся быстро, с первого разговора. И я откровенно рад, что встречусь с ним здесь, на передовой.

Вслед за Юркой спускаюсь в люк комбатовской самоходки. Не успеваю оглядеться, как кто-то сжимает мне плечи, оттаскивает от люка в сторону.

— Ты разве здесь? — Левин держит меня мертвой хваткой — руки у него тяжелые, сильные.

Оба мы не скрываем радости, хотя не виделись всего две недели. Сергей уступает мне место у отката орудия. Юрка садится на сиденье командира машины, напяливает шлем, долго возится, застегивая под подбородком ремешок. Но пряжка не слушается его. Он чертыхается и достает микрофон. Нажав кнопку умформера, Смыслов, словно доктор к дыханию пациента, прислушивается к его жужжанию, потом переходит на передачу, по привычке пощелкивает ногтем указательного пальца по тонкой чувствительной сеточке микрофона и начинает упрощать «Солнце», чтобы оно поскорее откликнулось «Луне-4».

— Папа Журавлев, наверное, дежурит, — бросает он, переключая станцию на прием, и поглядывает на часы.

Сейчас как раз время сеанса связи. Штабная рация должна быть на приеме. До перерыва минуты четыре.

С нетерпением прислушиваемся к сухому потрескиванию в наушниках Юркиного шлемофона, хотя это совсем ни к чему: по лицу Смылова можно сразу определить, когда он услышит штабного радиста.

— Солнце, Солнце. Я Луна, я Луна-четыре. Отвечай, как слышишь? Как слышишь? Я Луна-четыре. Прием...

Юрка долго крутит ручку настройки. Снова и снова требовательно и просительно вызывает к «Солнцу». Но «светило» упорно не хочет откликнуться.

— Ты сколько на радиста учился? — спрашивает меня Левин.

— Три месяца.

— Все время в Горьком? Или еще где?

— В Горьком.

Он спрашивает о военной школе радиоспециалистов, в которой нас за три месяца сделали радиотелеграфистами третьего класса и ефрейторами.

— А где эта школа?

— В кремле.

— Это наверху, где памятник Минину?

— Рядом с обкомом. В кадетском корпусе. Может быть, знаешь — летчик Нестеров в этом доме родился.

Сергей не знает и не скрывает этого. Сам он из Ардатов. В Горьком бывал не часто: несколько раз ездил к родным.

— Значит, автозавод тоже бомбили? — спрашивает он, помолчав.

Я уже рассказывал ему, как бомбили город перед нашим отъездом на фронт, как мы ездили на автозавод, помогали вытаскивать из-под обломков станки, разбирали завалы. Но каждый раз старшина пытается выудить из моей памяти новые и новые подробности.

— Сволочи, куда залетели, — хмуро сказал он после нашего первого разговора и надолго умолк. А я тогда пожалел, что рассказал об автозаводе: его сестра живет там, в Соцгороде.

Юрка радостно вскрикивает и, включив передатчик, пачинает вызывать «Солнце» веселее и громче:

— Солнце! Солнце! Слышу тебя хорошо. Отвечай, как слышишь? Это ты, Паша? Я Луна-четыре. Привет. Перехожу на прием...

В радиошколе за лишнее слово, оброненное в микрофон, нам ставили двойки, выносили взыскания. За «привет», который Юрка сейчас запустил в эфир, ему бы наверняка дали наряд вне очереди — заставили драить полы или чистить картошку. Но в школе одно, а на передовой другое. Здесь нет строгих учителей. Здесь одна учительница — война. Дай четкую связь — вот и весь приказ. Остальное никого не интересует.

Нам повезло. Журавлев откликается «как по зака-

зу» — в тот момент, когда с треском откидывается люк и в темном четырехугольнике появляется лицо комбата.

— Связь установлена, товарищ гвардии старший лейтенант! Как часы! — неестественно громко кричит ему Юрка.

— Понял. По физиономии вижу. Молодец! — Грибан спускается вниз, и в машине сразу становится тесно.

Левину приходится лезть еще дальше — на сиденье водителя. Я передвигаюсь на его место, Смыслов — на мое.

— Не зря мы поехали. Без нас они тут пропали бы; — говорит мне на ухо Юрка.

Грибан садится за рацию. И... все начинается снова.

«Солнце» опять умолкло. Комбат вызывает его несколько раз подряд. Прием... Передача... Передача... Прием... А «Солнце» молчит, словно «закатилось» куда-то в бездну, откуда его никогда никому не услышать.

— Тоже радисты! Вышвырнуть вас на мороз. Где же связь?! — не на шутку взвинчивается Грибан и в сердцах срывает с головы шлем. Левин смотрит на него с укором, Смыслов — с удивлением: «А говорили, комбат пикогда не психует».

Не ожидавший такого конфуза, Юрка торопливо лезет на командирское место, бормоча кому-то проклятья. И опять поет, визжит умформер.

— Ты иди погуляй. От твоего присутствия связь не улучшится, — бросает мне Грибан с металлическими нотками в голосе.

Вылезаю наверх. У кромки люка, приподнявшись на цыпочки, стоит капитан Кохов. Он рассматривает в бинокль Нерубайку. Но и без бинокля видно — там что-то случилось. Соломенные крыши двух крайних хат занялись пламенем. Огонь пожара осветил единственную улочку из конца в конец. По ней, обгоняя одна другую, проносятся крытые грузовые машины. А вот в середине деревни взметнулись кусты разрывов.

Деревушка находится сзади и чуть правее нашей вы-

сотки. По змистой балке до нее километра три. Напрямую меньше.

— Связь? — коротко спрашивает Кохов.

— Прервалась!

Капитан длинно и выразительно ругается. Это он умеет...

— Иди на рацию! Смыслова ко мне!

Мы с Юркой меняемся ролями.

Теперь уже я терпеливо внушаю «Солнцу», что оно обязано отозваться. Но Журавлев не хочет со мной говорить. Проверяю волну. Начинаю сначала. И опять то же самое...

— Скоро ты там? — в люке появляется лицо Кохова. — Что ты копаешься? Доверили сосункам!..

Это уже оскорбление. Но я молча глотаю пилюлю. Кохов — капитан. Жаловаться на него не пойдешь. Да и некому жаловаться. Он здесь самый старший по званию. Он здесь хозяин.

— А ну, вылезай! — властно выкрикивает «хозяин» и, словно ствол пистолета, поднимает указательный палец вверх.

А я и без этого жеста знаю дорогу из самоходки. Она одна — «к звездам», как говорит Левин.

— Ефрейтор Дорохов! Приказываю бегом пройти к Нерубайке и установить связь со штабом полка.

— Есть, товарищ капитан!

— Что есть?! — выкрикивает Кохов. Кажется, у него сдают нервы.

— Есть, пройти в Нерубайку и установить связь со штабом полка.

— Не пройти, а бегом!

— Есть, бегом!..

Спрыгиваю с машины и трусцой направляюсь через кочковатое поле к балке. Когда самоходки исчезают из виду, перехожу на шаг. Тропинка ведет в глубь леса, затем поворачивает влево и выходит к болоту, затянутому

тонким ледком, над которым возвышаются вспученные лошадиные трупы. Издали они напоминают копы пере-превшего клевера на выкошенном до белизны клеверище. У одной лошади голова подо льдом. Видны только клочья гривы. Вздущаяся спина отливает коричневым блеском. Скорее всего, она по самое брюхо завязла в тине и так застыла, замерзла. Другая лежит на боку у самого берега. С болота тянет смрадом. Я отворачиваюсь и... останавливаюсь как от удара в грудь.

Впереди в нескольких сотнях метров, словно приготовившаяся к прыжку широколобая противно-зеленая жаба, прижался к кочкам гусеничный бронетранспортер. Спаренные пулеметы смотрят прямо сюда, на тропинку. Рядом с машиной лицом друг к другу стоят два солдата. Немцы! Вот она, смерть! И некуда спрятаться и укрыться. В мозгу вихрем проносится видение, как «жаба» срывается с места, несется вперед, наезжает на меня толстыми резиновыми гусеницами...

Скорее, скорее назад — к деревьям! Ветер свистит в ушах. Только бы не заметили! Бегу, не разбирая дороги. Перепрыгиваю через ямы и кочки. Падаю. Вскрикиваю от боли в колене. И снова бегу. В мозгу одна мысль: «Глупо, глупо! Глупо так умереть!..»

Каждое мгновение жду выстрелов. Еще быстрее! Еще!.. А главное — не оглядываться... Уже мелькают кусты, рядом спасительный лес — рукой подать... И вдруг понимаю, что давно в безопасности. Немцы остались за крутым поворотом. На бронетранспортере сюда не сунешь-ся — не проедешь.

Бреду от дерева к дереву. «Но почему я иду не тропинкой, а склоном оврага? Ах да, надо забраться в самую гущу. Там еще безопаснее...»

Без сил прислоняюсь к дубку. «Жив! Жив!» Но что же со мной случилось? Кажется, перетрусил... Вчера с Бубновым не боялся. Бежал под пулями и не боялся. А здесь?.. Но там мы были втроем. Здесь — один. И по-

том эти проклятые лошадиные трупы со страшными остекленелыми глазами, раздутыми, распухшими спинами...

С трудом переставляя ноги, поднимаюсь на высоту — к машинам. Что и как буду докладывать Кохову? Рассказать все как было? Он не поймет. Обзовет еще трусом.

А вот и он сам — маленький, аккуратненький, неприлично полный в своем беленьком полушубке. Вместе с ним Грибан, Бубнов, Смыслов. Капитан размахивает руками и что-то доказывает комбату. Увидев меня, умолкает. В ожидании доклада смотрит хмуро, зло и в то же время нетерпеливо.

— Товарищ капитан, в Нерубайке немцы. В балке бронетранспортер и до взвода солдат.

«До взвода» вырывается произвольно, само собой. И сам не понимаю, как это случилось.

«А может, и правда в бронетранспортере были еще солдаты? Откуда мне знать? Да и кто проверит...»

Но Кохов ни о чем больше не спрашивает. Его не интересуют детали. Он быстро поворачивается к Грибану.

— Я что говорил! — В его голосе смесь торжества и злости. — Мы в ловушке! Надо немедленно выводить самоходки в безопасное место!

Правильно говорит капитан. Надо менять позиции. И чем скорее, тем лучше. Но комбат упрямится:

— Я не имею права.

Кохов резко повышает голос:

— Я полагаю, товарищ гвардии старший лейтенант, вы обязаны подчиниться мне, как старшему по званию и должности.

— Я командую батареей, и отвечаю за нее я, а не вы, — удивительно спокойно отвечает Грибан.

— Что же вы предлагаете делать?

— Держать оборону.

— Уж не думаете ли вы зимовать на этом пупе земли?

— Будет приказ — зазимую.

Они стоят друг перед другом. Кохов нервно крутит пуговицу полушубка. Я смотрю на его бледное осунувшееся лицо, перевожу взгляд на потемневшие щеки Грибана, слушаю их перебранку и думаю о том, как странно все это выглядит: старший лейтенант не подчиняется капитану.

— Вы будете отвечать за отказ выполнить мое приказание, — цедит с расстановкой Кохов.

Ни одной новой искорки не вспыхивает в глазах Грибана. Он смотрит капитану прямо в лицо и выговаривает чекапно и твердо:

— Вашему приказу я не могу подчиниться. Прикажет полковник сдать батарею вам — будете командовать. А пока за людей и технику отвечаю я.

— А я отвечаю за людей, за технику и еще за вас!

— Много на себя берете. Ваше дело — разведка, — тихо произносит комбат.

Кохов оглядывает Грибана свирепым взглядом и неожиданно набрасывается на нас с Юркой:

— Марш в машину! Установить связь со штабом!

Хорошо отдавать приказы. «Установить связь» — и точка. А как ее установишь, если «Солнце» исчезло с нашего горизонта, не оставив своих координат? Ему, «Солнцу», нет никакого дела до того, что нам надо разбиться, а выполнить приказ капитана. Но выполнять надо. Это мы хорошо понимаем. И потому безропотно лезем в машину.

И опять начинаем слезно упрашивать, умолять штабного радиста, чтобы он поскорее откликнулся на наш зов.

— Солнце! Солнце! Я Луна-четыре. Я Луна-четыре. Отвечай, как слышишь? Как слышишь? Прием...

Раз, второй, третий повторяет Юрка одно и то же.

А в ответ только треск разрядов, противный и пронзительный писк да бешено мчащиеся на соседней волне тире, точки, точки, тире...

Запустить бы сейчас Журавлеву порцию морзянки со скоростью групп пятнадцать. Я представляю, как, уловив в эфире пулеметные очереди ключа, Паша торопливо хватается карандаш и, придерживая двумя пальцами наушники, быстро-быстро записывает цифры и буквы. Он может принимать до двадцати групп в минуту. Это когда тире и точки сливаются в стремительную музыку. Кажется, в ней не под силу никому разобраться. Но Журавлев — радист первого класса. Он все поймет. И все запишет без единой ошибки. Ему бы только услышать... Но не слышит нас «Солнце». Исчезло, пропало оно куда-то вместе со штабной рацией и лучшим в полку радистом...

ПРИКАЗЫ НЕ ОБСУЖДАЮТ

Мглистая изморось все плотнее окутывает высотку мутным холодным пологом. Пожары в Нерубайке и Сосновке погасли. Наверное, там уже обрушились хаты: зарево исчезло бесследно, растворилось в морозном воздухе. Самоходки занимают приготовленные им гнезда — выдолбленные в мерзлой земле неглубокие квадратные ямы. На каждую выемку наезжает машина. С бортов, сзади и спереди мы закрываем дыры брезентом. И под днищем получается неплохое, почти комфортабельное убежище: здесь нет ледящего ветра и можно спокойно спать, пока часовой не поднимет «в ружье».

Нам со Смысловым Кохов приказал не отходить от машины Грибана. И мы первыми забрались под стальное брюхо комбатовской самоходки, которая теперь стала похожа на клушку, а мы — на ее цыплят. На крышках от разбитых снарядных ящиков не очень удобно. Но если под бок постелить шинель, под голову сунуть вещевого мешок и, прижавшись друг к другу спинами, накрыться второй шинелью, то можно скоротать ночь. Только бы не свело от холода неприкрытые ноги.

— Ты часто так ночевал? — спрашиваю я Смыслова.

— Приходилось. — Он отвечает небрежно, словно речь идет о чем-то привычном.

Правда, он раньше меня на фронте, но все-таки верить ему с первого слова по крайней мере наивно. Никогда не поймешь, что у него на уме: в полку всем известно, что Юрка большой фантазер и любит поймать на слове, подковырнуть, съехидничать.

— В окопах ты тоже спал?

— Я один раз даже на шкафу ночевал. Зимой. В хате битком было, а я смотрю — шкаф. Взобрался. Сел. Зад уместился, а солдату больше не надо. Главное — не сверзился ночью, не загремел. И на рояле спал. Мы в клубе тогда размещались. А в окопах мне не совсем нравится. То сыро, то холодно, да еще гляди, чтобы шинель не примерзла. Солдат утром вскочит в атаку, смотришь, а у шинели его только одна пола. Вторая, примерзшая, в окопе осталась. Подожди, и ты еще полы поотрываешь.

Смыслов говорит это серьезным тоном. И я почти верю в его предсказание.

— И ты ни разу не простудился?

— На передовой не берет простуда... Военврач говорил, что это из-за нервной системы Павлова простуда не прилипает. Понимаешь, нервы пересиливают любую болезнь... Ну, хватит. Я спать хочу, — обрывает он разговор.

Это совсем не в его характере — на полуслове прервать свои мысли. Или он боится, чтобы я не начал расспрашивать его о «нервной системе Павлова», или смертельно устал. Правда, Юрке сейчас можно немножко вздремнуть. А мне скоро снова в машину, на рацию: Кохов приказал вызывать штаб полка через каждые двадцать минут, и мы делаем это по очереди.

Снаружи, из-за брезента, доносятся тревожные настояженные голоса. Они заставляют невольно прислушаться. Один из них басовитый, раскатистый, другой — тенорок. И оба знакомые. Это комбат и начальник разведки.

Если приподняться, отодвинуть брезент и просунуть между гусеницами руку, до них, наверное, можно дотянуться.

— По данным разведки корпуса, немцы намерены предпринять контратаку именно здесь. Не дай бог, если они ударят с этого фланга.

Узнаю голос Кохова — не совсем четко получается у него буква «р». Видимо, оба они склонились над картой: слышно, как шелестит бумага.

— Тут со стороны балки никакого охранения нет. Вот видишь дорогу... Вечером по ней двигалась мотопехота противника. В сторону Омель-города прошли три танка. Кстати, от этого шляха до нас полтора километра. Почти прямая наводка... А прикрытия нет и пока не предвидится...

Длительное молчание. А это уже голос комбата:

— Саперам не обещали подкрепление?

— Наоборот, сказали, чтоб на себя надеялись и больше ни на кого... Знаешь, Грибан, как сейчас выглядит наша батарея? Как колобок на носу у лисы. Помнишь его последнюю песенку?

— Помню. Только колобок-то стальной... Не по зубам будет фрицам. Челюсти обломают...

Я толкаю Юрку спиной.

— Ты слышишь?

— А ты тоже подслушиваешь? — Наверное, у него удивленное лицо. Стаскивая с меня шинель, Смыслов переворачивается на спину и шипит мне в ухо:

— Тише...

Мы умолкаем, напряженно вслушиваемся в каждую фразу. Кохов опять начинает горячиться, как недавно в машине?

— По-моему, мы должны сами принять решение. Мы имеем на это право.

— Решение уже принято командиром полка. Удерживать высоту. Он сказал, что она ключ ко всей обороне. А приказы не обсуждают.

— Но ведь ключ может оказаться в таком замочке, из которого его никто не вытащит. Еще неизвестно, что случилось в Нерубайке со штабом, а мы ждем указаний. От кого ждем?.. Слушай, Грибан... По-моему, надо пойти кому-то из нас к соседям. У командира саперного батальона должна быть телефонная связь со штабом бригады, через него и свяжемся с полком — со штабом, если он уцелел, или с тыловиками.

— Вот об этом стоит подумать...

Снаружи доносятся отзвуки перестрелки. Стреляют недалеко. Даже здесь, под брезентовым пологом, отчетливо слышно, как вплетаются в трескучие автоматные переборы хлопки винтовочных выстрелов.

С хрустом откидывается смерзшийся брезент. В темноте щели вырастает расплывчатый силуэт Кохова.

— Быстро в машину! — кричит капитан срывающимся голосом.

— Быстро! Быстрее! — выкрикивает он, первно оглядываясь по сторонам.

Вслед за Юркой и Левиным на корточках выбираюсь паружу, волоча шинель по оттаявшему песку.

— Нужна связь со штабом! Попробуйте снова! Немедленно! — Лицо у Кохова белое. Глаза лихорадочно блестят. — Дорохов, исполняй!

— Смыслову остаться со мной, — кричит он Юрке, напяливающему шинель.

Лезу на самоходку. В машине все на местах. Грибан, низко пригнувшись, боком выбирается из-за орудия, освобождает мне место у рации.

— Долго возитесь, — недовольно ворчит комбат. — Вызывайте скорее.

Включаю питание. Зеленый глаз индикатора начинает знакомо подмигивать. Он словно живой: то вдруг расширяется до предела, то сужается, превращаясь в точку.

— Солнце! Солнце! Я Луна-четыре!..

В нашей ГВШРС — Горьковской военшколе радио-

специалистов мне всегда везло на напарников, с которыми предстояло устанавливать связь. По радиосвязи у меня были сплошные пятерки. «Пусть же и здесь повезет...»

Передаю позывные. Умоляю «Солнце» откликнуться. Повторяю вызов еще и еще. Зеленый зрачок то замирает от удивления, то вспыхивает на полную яркость. «Наверное, и мои зрачки играют так же, как он: от нетерпения им впору позеленеть».

Снова, в который раз, переключая рацию на прием и чуть не подпрыгиваю от радости на клеенчатом откидном сиденье. Приглушенная расстоянием певучая речь Павлика Журавлева, одобренная характерным белорусским акцентом, звучит в наушниках бодрящей, радостной музыкой. Она мигом сгоняет с меня остатки сонливости.

— Луна-четыре! Я Солнце! Отвечай, как слышишь? Сейчас будет говорить первый... Как слышишь? Прием...

— Товарищ старший лейтенант! — кричу Грибану, не дослушав до конца штабного радиста. — У рации командир полка!

Через люк на наши головы сваливается Кохов.

— Наконец-то! Ну, гробокопатели!.. — хрипит он, тяжело отдуваясь. Узнав, что будет говорить полковник, капитан выхватывает у меня микрофон:

— Первый! Первый!..

Нажимаю кнопку переключателя: Кохов забыл это сделать.

— Первый! Первый!..

Капитан возбужден до предела. Это заметно сразу.

— Докладываю обстановку... Противник атакует с юга и запада. Саперы могут не удержаться. Коробки применить невозможно. Прошу приказа отвести их в безопасное место... Повторяю. Прошу приказа переправить коробки в лучшее место.

С узкого, не тронутого морщинами лба капитана медленно сползает крупная капля пота. Весь он напрягся.

На суставах пальцев, вцепившихся в микрофон, появляются белые узелки. Мучнистыми неровными пятнами покрываются щеки.

Из кружочков телефона до нас доносится только легкий треск. Но по выражению лица Кохова можно понять, что командир полка не согласен. Капитан ударяет по кнопке переключателя и снова кричит в микрофон:

— Первый! Первый!.. Нас атакует пехота противника. В темноте ничего не видно... Повторяю: коробки применять невозможно... Можно потерять все коробки. Можно потерять. Прошу приказа отвести их в безопасное место.

Я высовываюсь из раскрытого люка. Неподалеку от машины солдаты роют окоп. Размеренно, не спеша орудуют они лопатами. Их словно и не касается, что с гребня высоты доносится беспорядочная стрельба.

Спускаюсь обратно. Кохов глядит в индикатор, сунув глаза. Он напряженно вслушивается в слова полковника и вдруг срывает с себя шлемофон и швыряет его под ноги.

— Сидят там... — он грубо ругается. — А нас тут перебьют, как котят! Пришел бы да командовал сам!

Начальник разведки полка лучше всех знает обстановку. И, глядя на капитана, я начинаю думать, что немцы могут атаковать нас и с тыла. Ведь от поворота оврага, за которым затаился бронетранспортер со спаренными пулеметами, до нас подать рукой.

Словно угадав мои мысли, Кохов бросает комбату:

— На этот пяточок немцы могут прийти из балки. Там нет даже охранения. Мне только что говорили об этом саперы.

Рация опять на приеме. Сквозь хаос свистящих, шипящих, визжащих звуков снова прорывается голос Журавлева:

— Первый хочет говорить с Грибаном... Первый будет говорить с Грибаном...

— Товарищ старший лейтенант... Вас командир полка! — Я протягиваю микрофон комбату.

Да, совсем, совсем не похожи они друг на друга — комбат и начальник разведки. Кохов взвизгивает. А Грибан говорит с полковником, словно ничего особенного не случилось:

— Саперов вчетверо меньше, чем вы говорили... Пока в бой не вступаю. Надо уточнить обстановку. Возле коробок спокойно...

Капитан смотрит на него укоризненно, затем протягивает руку к кнопке переключателя. Но Грибан останавливает его решительным жестом. Выслушав командира полка, он громко кричит в микрофон:

— Вас понял. Вас понял. Удерживать! Понял!..

Комбат сам выключает радию. В машине становится тихо. Только редкие автоматные очереди доносятся через распахнутый люк. По ним нетрудно определить, что бой подходит к концу. Судя по хлопкам выстрелов, теперь стреляют только саперы. Похоже, что они уже отбили атаку и бьют на выбор по одиночным целям.

Кохов постепенно оттаивает, успокаивается. Но глаза его остаются злыми, кусачими.

— Почему ты не сказал, что рядом шел бой? — спрашивает он, не глядя на Грибана.

Комбат устало машет рукой.

— Мы сами ничего толком не знаем. Какими силами атакуют пемцы?.. Я не знаю. Ты тоже. Разобраться надо сначала.

— Зачем же спорить? — Кохов не унимается. — Нам здесь лучше видно, как поступать, а Демину многое непонятно.

Но Грибан уже не слушает.

— Пойдем к командиру саперной роты. Уточним обстановку, — говорит он Кохову.

Комбат берется за кромку люка, замирает, прислушивается:

— Кажется, стало тише... Саперы должны выдержат, там половина — сибиряки.

Старший лейтенант подтягивается удивительно легко. Мелькают отшлифованные до блеска, наполовину сточившиеся подковки его каблуков, и в люке на какую-то секунду снова появляется кусочек звездного неба.

«Небо с овчинку», — вспоминаю я излюбленное выражение Левина, стоящего рядом с невозмутимо-спокойным видом. Вот такое небо бывалому старшине, наверное, видится каждую ночь. Это отсюда, из самоходки, кажется оно размером с овчинку. А может быть, эта поговорка и родилась среди танкистов и самоходчиков?..

Вслед за Грибаном в люк вылезает Кохов. Его блестящие хромовые сапоги-гармошки проплывают перед моим носом. От них отдает скипидарным сапожным кремом, острый запах которого перебивает испарения солярки.

— Дорохов, поддерживать постоянную связь! — бросает капитан сверху.

Мне неприятно, даже тягостно сидеть в машине. Наверное, это от непривычки. До сих пор мне еще никогда не доводилось оставаться в самоходке или тридцатьчетверке подолгу. Здесь, за броней, не то что в лесу или в поле. Там простор и раздолье. Там видишь людей, и местность, и все, что вокруг тебя происходит. И можешь пойти, куда тебе хочется. А здесь я чувствую себя как в клетке. Здесь сидишь в полном неведении и ждешь. А чего ждешь?

Левин, видимо, понимает мое состояние. Он выглядывает через люк наружу, опускается на откидное сиденье и говорит покровительственным тоном:

— Ты не волнуйся. Здесь даже безопаснее, понимаешь? А завтра оглядимся — займем круговую оборону. Снарядов нам хватит. Ни одна сволочь близко не подойдет, понимаешь?

Я смотрю на выстроившиеся сбоку, отливающие холодной желтизной латунные гильзы, на пепельно-серую

сталь снарядов. Одни из них с красными поперечными полосами. На других ободок синий. Бронебойные и осколочные... Своими хищными острыми клювами они смотрят вверх, в распахнутый люк, в который заглядывают звезды, похожие на шляпки маленьких золотых гвоздиков.

И как это все нелепо: звезды, добродушная, спокойная улыбка Левина, а рядом с нами, всего в сотнях метров, опять разгорается перестрелка. Там, наверное, умирают люди. Если бы не приказ Кохова и олимпийская Сережкина сдержанность, я наверняка вылез бы из этой холодной стальной коробки наверх. На волю. «К звездам», как говорит Левин. Но приказ есть приказ. Приказы не обсуждают.

В ОКОПАХ

В эту суматошную ночь так и не удастся заснуть. То в машину, то из машины. То приказывает Кохов, то Грибан. А вот и Бубнов подает свою морскую команду «свистать всех наверх».

Вокруг потемнело. словно кто-то подмешал сажу к плотному помутневшему воздуху. Луна всего час назад была похожа на высвеченный изнутри туго падутый оранжевый шар. Но, уколовшись об острые верхушки деревьев, она сразу сникла, поблекла. Встревоженный холодным ветром, налетевшим со стороны Нерубайки, лес протестующе загудел, зашевелился. Через поле потянула поземка.

Идем со Смысловым ко второй самоходке, возле которой назначен сбор. Я не успел переобуться, перекрутить обмотки. Одна из них расползлась, съехала вниз, и ветер задувает в ботинок крупинки снега. Стаскиваю ее на ходу, скручиваю, как бинт, — наверну там, на месте.

Батарейцы окружили комбата и Бубнова. Закуривают. Ждут, какое приказание будет на этот раз.

В стороне над траншеями взлетает ракета. Оттуда опять доносится трескотня автоматов, в которую дробно вплетаются отрывистые пулеметные очереди. Немцы не дают саперам покоя, снова втягивают их в перестрелку.

— Все собрались? — спрашивает Грибан и, не дожидаясь ответа, приказывает: — Наводчикам и водителям остаться в машинах. Остальным, кроме офицеров, — в распоряжение лейтенанта Бубнова. Надо помочь саперам.

— Проверить автоматы и карабины, — добавляет Бубнов. — Пойдем сейчас же...

Шагаем без строя, гурьбой. Нас набралось целое отделение. Да еще какое! Пять рядовых и сержантов и два лейтенанта. Вместе с нами отпросился у Грибана техник-лейтенант Шаповалов — помощник комбата по технической части. Его обязанность — ремонтировать самоходки. Но сейчас они в полном порядке, а ему, видимо, не сидится без дела. Лейтенант захватил автомат. Он держит его за кончик ствола как-то неловко, словно несет грабли или лопату. И потому у него совсем не воинственный вид.

Натякаемся на темную узловатую ленту бруствера. Это ход сообщения — узкая щель, ведущая от основной траншеи в тыл обороны. Она отрыта только до пояса. Но больше и не требуется, чтобы пройти скрытно от глаз противника. Такие ходы роют, когда долго стоят в обороне, — с ними безопаснее и удобнее: можно незаметно переправлять убитых и раненых в тыл, доставлять солдатам продукты, боеприпасы, почту.

Спрыгиваем вниз, гуськом шагаем след в след, пока под ногами не открывается глубокая, почти в рост, траншея. В ней сидят на корточках трое солдат. Они вскакивают, прячут в рукава недокуренные сигарки, разглядывают нас во все глаза. И каждый глядит по-своему:

один — с удивлением, другой — с затаенной радостью, у третьего на лице петерпеливое ожидание.

— Где командир роты? — спрашивает Бубнов высокого темполицего сержанта, у которого поверх шапки накинута коричневый капюшон, отрезанный вместе со шнурками от плащ-накидки.

— Они там, дальше. — Сержант машет варежкой влево. — Мы этот фланг держим. А они туда ушли. Там горячее...

— Сколько вас здесь?

— Пятеро. Еще двое у пулемета — тут рядом. Четверых командир роты перебросил на левый фланг.

— Хорошо, — прерывает его Бубнов. — Вот вам подкрепление. Еще пятеро. За старшего лейтенант Шаповалов. А мы двинемся к командиру роты. Помните, назад ни шагу! Смыслов, за мной!

Бубнов и Юрка уходят. Сержант пристально, изучающе рассматривает Шаповалова. А тот осматривает саперов и искоса вопросительно поглядывает на нас. Видимо, он не знает, с чего начать разговор.

Лейтенант из тех офицеров, у которых нет и, наверное, никогда не было подчиненных. Личный состав батареи подчиняется Грибану. А в подчинении помпотеха только машины, да и то вышедшие из строя, пуждающиеся в ремонте.

— По-моему, надо сначала познакомиться, — наконец задумчиво произносит Шаповалов.

Он не умеет или не хочет разговаривать с солдатами по-командирски, как офицер. Саперы, наверное, ждут от него указаний. А лейтенант начинает по очереди представлять им каждого из нас, словно артистов.

— Это Иван Кравчук, — кивает он на бравого старшину, арттехника батареи.

— Заряжающий Егор Егоров. Он у нас самый молодой.

— Ефрейтор Пацуков, сибиряк.

— Это Дорохов. Тоже самый молодой. Он еще необстрелянный...

— А моя фамилия, как вы уже слышали, Шаповалов.

Заключив «представление», лейтенант произносит нравоучительный монолог о необходимости на передовой постоянного чувства локтя. Он говорит просто, от чистого сердца, но избитыми и истертыми фразами и уже совсем невпопад поздравляет саперов с успехами в предыдущих боях.

— Спасибо, — растерянно лопочет сержант-сапер, сбитый с толку неожиданным поздравлением. — А у нас я тут за старшего. Моя фамилия тоже Шаповалов.

Солдаты смеются. А лейтенант с изумлением глядит на сержанта. Оба они с минуту молчат. И это очень похоже на немую сцену в спектакле.

— Первый раз за войну встречаю свою фамилию, — произносит наконец старший по званию Шаповалов. — Вы откуда родом? Я из Перми.

— А я из Краснодара.

— Земляки! — восклицает Кравчук, и мы снова хохочем...

Над нашими траншеями в той стороне, куда ушел Бубнов, взвивается осветительная ракета.

— Немцы идут! — растерянно кричит Егоров, показывая рукой за бруствер.

Свет ракеты выхватывает из темноты заснеженное поле и длинную, зигзагообразную цепь гитлеровцев, растянувшуюся по всему склону противоположного бугра. Кажется, воспользовавшись темнотой, таинственная вражеская высотка пододвинулась к нам ближе. До немцев метров пятьсот, не больше. Они бегут вниз, в маленький овражек, который вряд ли их скроет: он просматривается чуть ли не весь.

Слева начинает строчить пулемет. Хлесткие короткие очереди вспарывают тишину ночи. Они словно подталки-

вают нас. Мы лихорадочно щелкаем затворами и, как по команде, выбрасываем автоматы и карабины на бруствер.

Оставив в воздухе серый дымовой шнур, ракета гаснет, не долетев до земли. Тут же вспыхивает другая. А немцы не обращают на них внимания. Они не останавливаются, наоборот, бегут все быстрее и быстрее.

— Не стрелять! Подпустим их ближе! Пусть их бегут! — неожиданно командует сержант Шаповалов.

А мне вдруг становится холодно. Бьет озноб. Наверное, это от нетерпения. Вот они, гитлеровцы, — рядом! Почему же нельзя стрелять?! Их надо бить, бить, бить!.. На левом фланге к первому пулемету подключился еще один. Они тараторят, словно стараясь переговорить друг друга. А мы все молчим. Лейтенант не подает никакой команды. Кажется, наш помпотех немножко растерян. Наверное, никак не может решить — слушаться ему сержанта или командовать самому. А сержант больше не произнесит ни слова. Свет ракеты падает ему на лицо. Он смотрит за бруствер сузившимися глазами, словно охотник, высматривающий из засады приближающегося зверя.

Цепь наступающих гитлеровцев переламывается надвое. В самой ее середине солдаты падают. Не поймешь — или их укладывают пулеметы, или они залегают от страха перед опасностью. Рассыпавшись на мелкие искорки, гаснет ракета. После яркого света хоть глаз коли — ничего не видно вокруг. Что же это такое?! Так они могут подобраться совсем близко. Зачем же их подпускать?!

И опять загорается в черном небе ослепительно яркая звездочка. Она медленно падает прямо на немцев, которые уже миновали овражек и, не задержавшись в нем, бегут дальше. И в это время рядом гулко и дробно начинает бить пулемет, закрытый от нас изгибом траншеи. Наконец-то!..

Нажимаю курок, не успев прицелиться. Выпускаю

длинную-длинную очередь. Палец словно прирос к спусковому крючку.

Оказывается, это очень трудно, даже невозможно хотя бы на секунду остановиться, когда стреляешь не по мишени, а в самых настоящих живых фашистов. Тут на счету каждый миг. Тут некогда даже прицелиться, высмотреть, куда лучше стрелять.

Я видел в кино, в «Чапаеве», как шли в психическую атаку каппелевцы, как чапаевцы подпускали их поближе к окопам, чтобы ударить наверняка и сразу ошеломить, отбросить. Но никогда не думал, что самому придется увидеть и испытать подобное. Здесь многое похоже на ту атаку. Хорошо видно, как немцы выравнивают строй. Только в руках у солдат автоматы, а не винтовки, и атакуют они не днем, а ночью, а это страшнее: темнота приближает опасность вплотную.

Немцы продолжают бежать, и мне начинает казаться, что их не способна остановить никакая сила. От этой мысли становится жарко — чувствую, как на лбу выступает испарина. Растерянно оглядываюсь на соседа-сапера. Это Шаповалов. Он навалился грудью на бруствер и едва не задевает меня правым локтем, который то и дело подергивается от толчков автомата. Сержант невозмутимо спокоен. Он не спеша припадает к прикладу. Целится. Бьет короткой отрывистой очередью. Приподнимает голову над бруствером, что-то высматривает, прищуривает глаз и целится снова.

Он перехватывает мой взгляд и грубо бросает через плечо:

— Не мельтеши! Лучше целься. Как ракета засветит, так и целься. А в темноту не пали!..

«Да, надо вот так же, как он, — короткими очередями...» Прицеливаюсь по стволу. Нажимаю спуск. Затвор лязгает всухую. Выстрелов нет... Наверное, перекося. Судорожно отвожу затвор. Патронник пуст.

— Дай патронов! — кричу соседу, когда он снова при-

поднимает голову, чтобы поглядеть вперед, и чувствую, что кричу неестественно громко, не кричу, а ору. Сержант деловито выпускает из ствола-коротышки очередную порцию пуль и только после этого поворачивается ко мне:

— Сам бери! В ящике!

Лишь сейчас замечаю в стенке окопа нишу, набитую патронными ящиками. Верхний из них приоткрыт. Лихорадочно выдергиваю пустой диск, откидываю крышку, до отказа закручиваю пружину, горстями хватаю патроны. Скорее! Скорее!..

Неужели дойдет дело до рукопашной? Перед отправкой на фронт нас учили действовать в рукопашном бою винтовкой образца 1891 года с длинным граненым штыком. «Коротким — коли!» «Длинным — коли!» «Прикладом — бей!» Это я знаю. Не раз колол и бил чучело. А вот как колоть автоматом? Как действовать им в рукопашной, когда нельзя стрелять, потому что можно попасть в своих?.. Этому нас не учили.

А немцев уже видно без иллюминации. Они залегают, темными мохнатыми кочками застывают на поле перед очередной перебежкой. Заметно, как некоторые кочки шевелятся.

Мельком оглядываюсь на сапера. Он выдергивает пустой диск, бросает его в нишу, достает из-за ящика другой, не спеша вставляет его в автомат, отводит затвор. Движения сержанта неторопливы, уверенны, и мне невольно хочется вести себя так же, как он, во всем ему подражать.

Прицеливаюсь в темнеющий на снегу шевелящийся расплывчатый бугорок. Мушку почти не видно. Едва заметна, только угадывается прорезь. Ну и черт с ней. Главное — не торопиться, не дергать спусковой крючок, а нажимать на него плавно, как делали в школе, на стрельбище, как это делает Шаповалов. Даю короткую очередь. Получилось. Темное пятно остается на месте, не

шевелится. Но неизвестно, попал или нет. А может быть, и стрелял в убитого. Гитлеровцы снова перебегают. В темноте маячат длинные мутные силуэты. Навожу автомат на них. Кажется, я окончательно успокаиваюсь. Руки уже не трясутся. Немцы останавливаются, падают.

— Подождите стрелять! — громко, во всеуслышание командует сержант. — Степанов, ведите наблюдение!

Младший по званию Шаповалов, несмотря на присутствие лейтенанта, по-прежнему чувствует себя хозяином. Подав команду, он отходит от бруствера к нише, выгребает пригоршнями патроны из ящика и, не обращая на нас никакого внимания, начинает набивать ими круглый пузатый диск ППШ. Он еще и старый не успел расстрелять, а про запас уже готовит еще один диск, — вероятно, на случай, если затянется бой.

К нему подходит лейтенант Шаповалов.

— Почему же нельзя стрелять? — спрашивает он искренне, не скрывая недоумения, которое выдает и его голос, и весь его вид.

— Фрицы-то залегли, товарищ лейтенант. Окопались они, — объясняет ему сержант, как школьнику. — Сейчас они пас высматривают. По нашей стрельбе, по огонькам автоматов высматривают. Как засекут нас, такую стрельбу поднимут, что и не высунешься. Пусть лучше полежат, а как выскочат опять на голое место, мы им и вложим сразу. Только надо следить за ними.

У сержанта вроде убедительная логика. Но ведь так хорошо рассуждать, когда бой ведется в равных условиях — днем, а не в темноте, которая явно на руку наступающим.

— Дуэль нам невыгодно начинать, товарищ лейтенант, у нас парода здесь мало — раз в десять меньше, чем у них, — продолжает сержант. — Они это знают. Вот и лезут поэтому. Четвертый раз лезут за ночь. А нам обпаруживать себя незачем. Они и так уже по брустверу на-

чали бить. Поэтому давайте на всякий случай вон туда перейдем, левее.

Наш помпотех безропотно подчиняется младшему по званию однофамильцу. И правильно делает, что не лезет в амбицию. У саперов, видимо, уже отработана своя тактика ведения ночного боя, и нечего тут вмешиваться. А вот Кохов воспринял бы все это как унижение. Он сразу, с первого разговора, напомнил бы сержанту о своем офицерском звании и обязательно бы настоял на своем.

Переходим метров на тридцать левее.

У бруствера остается один из саперов. А мы по примеру Шаповалова — сержанта наполняем диски патронами, набираем их про запас. Словно желуди, насыпаем мы их в карманы. Золотистые, пахнущие машинным маслом, они приятно позвякивают при малейшем движении. На душе становится легче, спокойнее. Патропов нам хватит на десять таких боев. Есть у запасливых саперов и целый ящик гранат-лимонок. Сержант показал, где они лежат — в соседней нише. В общем, жить можно. И теперь не такими уж страшными кажутся гитлеровцы, укрывшиеся в глубоких бороздах. Пусть лезут. Гостинцев им хватит... Непонятно только одно — почему же они атакуют нас в лоб? Почему не пытаются обойти справа или зайти сзади — со стороны балки?..

К нам подбегает Смыслов, вынырнувший из-за поворота траншеи.

— Бубнов послал просить Грибана, чтобы пустил самоходки. Как у вас тут? — хрипит он, на секунду оставившись возле лейтенанта.

— Все нормально.

— А у нас двоих саперов убило и одного ранило. Головы не дают высунуть. По красной ракете самоходки должны пойти. Держитесь!

Юрка пригибается и исчезает в траншее, которая ведет назад, в тыл.

Гитлеровцы вжимаются в землю, прячутся в воронках и крупных бороздах. Всего метров сто осталось передним до бруствера. Но эти сто для них самые трудные. Они, наверное, рассчитывали на внезапность или на то, что саперы могут дрогнуть и оставят окопы без боя. Черта с два! Мы никуда не отойдем без приказа. А приказ лишь один — удержать высоту.

Откуда-то доносится рокот танков. «Еще этого не хватало?!» Бросаемся к брустверу. При свете затухающей ракеты успеваю увидеть всю вражескую высоту. На ней пусто. Кроме кочек-трупов и свежеврытой земли, там ничего не видно.

— А ведь это наши, а не немецкие, — радостно произносит лейтенант. — Я их по звуку знаю... Комбатовскую машину прогревают. Точно!

Значит, Грибан посылает в бой самоходки! Да и как же иначе! Ведь если немцы ворвутся в траншеи, попробуй потом их отсюда выкурить.

С левого фланга доносятся глухие взрывы.

— Нарвались фрицы! — радостно кричит сержант. — Ваня! — Он подскакивает к низенькому широколицему саперу, с размаху бьет его варежкой по плечу. — Твои мины сработали, слышишь? Как по заказу.

Будто в подтверждение этих слов, грохнуло еще два взрыва. И тотчас в той стороне, куда ушел Бубнов, прямо над траншеей взрывается красная ракета. Она чертит в небе крутую дугу и стреляет в воздухе крупными огненными искрами. Вот он, условный знак для Грибана!..

А перед нами немцы как залегли, так и продолжают лежать. Они словно оцепенели. Наверное, испугались, что их тоже заманивают на минное поле. Интересно, знают ли они, что их песенка спета? Сейчас выползут, нет, выскочат на самый гребень наши самоходки и заставят их обратиться в бегство. И будут их расстреливать почти в упор.

Ширится, нарастает железный стрекот. Мы забываем

о том, что противник под самым носом, поворачиваемся назад, с нетерпением ждем, когда выплывут из темноты стальные коробки. Но они появляются неожиданно и намного правее. Передняя машина, выпустив из выхлопных труб целый сноп золотистых искр, разворачивается к нам. И в это время ракета снова вспарывает темноту.

Оголтело надрываются пулеметы. Они бьют по гитлеровцам, резво бегущим к спасительному овражку. Как же так получилось?! Мы явно упустили момент. Воспользовавшись темнотой, немцы успели отмахать впиз по склону солидное расстояние. Теперь уже некогда целиться. Надо только бить и бить им вдогонку. Позабыв обо всем, мы выпускаем длинные очереди.

А на левом фланге горстка саперов поднимается в контратаку. Бойцы выскакивают из траншей, бросаются вперед.

Гулко охают пушки. Первые снаряды ложатся, не долетев до немецкой цепи. Их взрывы словно подстегивают спасающихся бегством солдат, которые несутся по полю, не пригибаясь и не оглядываясь. Снова раскалывается воздух. Огненные вспышки снарядов врываются в самую гущу фашистов. Хорошо видны переламывающиеся, нелепо взмахивающие руками падающие фигуры.

Но как все скоротечно! Кажется, проходит какие-то мгновенья, а гитлеровцы, которых не постигли снаряды и пули, уже скрываются в щелях.

Словно по команде стихает стрельба. Смолкают и самоходки. Они разворачиваются и быстро, торопливо уползают обратно.

— Теперь не пропадем! Вот это сила! — провожая их взглядом, радостно произносит сержант Шаповалов.

Он ставит автомат к стенке окопа, вытаскивает из кармана серый замызганный кисет, развязывает его зубами. Его хитроватый, с прищуром взгляд останавливается на мне.

— А ты, ефрейтор, первый раз, что ли, в бою?

— Ночью не приходилось...

— Ничего. Пообвыкнешь, — произносит он покровительственным тоном. — Первый раз это всем в диковинку кажется. А потом к нам приходить будешь, как к теще... Только вместо блинов тут диски. А вместо галушек — пули. Вот и вся разница...

Он растягивает тесемку кисета и выкрикивает с хрипотцой:

— Перекур! А ну, самоходчики, налетай, пока угощаю!

ЧТО ПРОИЗОШЛО В НЕРУБАЙКЕ

Днем на высоту обрушивается крупная метель. Дымчато-белые ледяные дробинки простреливают все видимое пространство из конца в конец и, сливаясь в живые шевелящиеся струйки, с силой бьются в борта самоходок. Похолодало. Мы еще раз тщательно заделали все дыры между катками и траками гусениц. Но ветер дует через брезент, как через решето. Просочившись под машину, он набрасывается на пламя коптилки, закручивает его винтом, силится оторвать от расплющенного конца гильзы и унести вместе с пляшущим, извивающимся хвостом копти.

Острые крупинки, проникающие через неведомые щели, обжигают лицо, шею, руки. Скапливаясь на глине, песке и шинелях, они быстро превращаются в мелкие капельки. Сыро и смрадно становится в нашем убежище, и мы все чаще выползаем наружу — размяться, разогнать кровь.

Согреваемся кто как может. Юрка несколько минут без передышки бегаёт вокруг самоходки и, тяжело отдуваясь, возвращается под машину с покрасневшимся от ветра лицом, усталый, дрожащий от возбуждения. Сибиряк Шаронов делает то же, только реже, чем Юрка. Ле-

вин уходит на подветренную сторону самоходки и делает гимнастику — приседает, боксирует, прыгает поочередно на одной и другой ноге. Тяжелее всего нам с заряжающим Егоровым. Меня Левин вытаскивает из-под машины силком. А Егоров, подтянув колени к самому подбородку, подолгу лежит неподвижно, закрыв глаза: он не поддается никаким уговорам выйти наружу, размяться.

Погода, видимо, подействовала и на немцев: с рассветом они притихли — «забились в норы», как говорит Левин.

— В обороне они в первую очередь заботятся об удобствах, — ворчит старшина. — Я давно замечаю, что они не воюют в плохую погоду...

В «схроне» нас пятеро. Грибан ушел с утра. Офицеры о чем-то совещаются под соседней машиной. У них, видимо, разговор особый, а у нас свой — солдатский.

Мы расшевелили Левина просьбами рассказать, как воевали в начале войны — в сорок первом. Не торопясь, с трудом подыскивая слова, рассказывает старшина о боях под Смоленском, об отступлении, о том, как приходилось тащить на себе пушки через болота:

— Снарядов не было. Стрелять было нечем. А орудия не бросали...

Метель влетает в Сережкин рассказ свои посвисты. Гулко хлопают о гусеницы концы брезента... Дороги отступления и бомбежки, прорывы из окружения, оборонительные бои с винтовками против автоматчиков-мотоциклистов... Все это в первые недели войны вынесли на своих плечах вот такие, как Левин.

— Тогда в сто раз тяжелее было. А теперь что!.. Даже пешком не ходим. Да еще за броней сидим. Вот отсидимся немножко на этой высотке, подождем, когда перестроятся части, и опять немцев галопом погоним. Вот увидите, дней через десять в Кировограде будем. А к весне всю Украину пройдем. А там и Германия рядом. Кипшка оказалась тонка у Гитлера.

— А правда, что Гитлер контуженный? Я слышал, что он вроде чокнутый и рука у него отсохла, — говорит Егоров.

Левин задумывается.

— Раз говорят, наверное, правда. А вообще кто такой Гитлер? Обыкновенный еврейтор.

— Ты осторожнее в выражениях. Дорохов тоже еврейтор. Не оскорбляй его, — перебивает Смыслов старшину.

Слышу, как хихикает Шаронов, и злюсь на Юрку. Опять он подковыривает. Но Левин не обращает на него никакого внимания.

— Теперь песенка Гитлера спета, — продолжает он. — Собачьей смертью фюрер подохнет, точно... А мне только одного хочется — провоевать от звонка до звонка, последнюю точку в войне поставить. Чтоб самому последнему стрельнуть...

Обычно немногословный, несловоохотливый, Левин уже не раз говорит при мне о своем сокровенном желании. Видимо, он уверен, что в конце войны кому-то предоставят право дать по уцелевшим фашистам последний выстрел из пушки или последнюю очередь из автомата.

— Представляете, — размечтался он, — подошли мы к Берлину. Зажали его в клещи. И тут — команда: «По логву фашистского зверя из всех стволов — огонь!»

— Да, бываем мы и в Берлине, поглядим на фашистскую столицу, — как о чем-то неизбежном, само собой разумеющемся говорит Шаронов и так же уверенно добавляет: — Кончится война, вернусь в свою школу... Будет о чем рассказать ученикам...

— А вы разве учитель? — удивляется Юрка, сразу переходя на «вы».

— Химию преподавал до армии.

— А почему вы механиком-водителем стали?

— Очень просто. Сначала в колхозе трактористом работал. Потом институт закончил — учителем стал. А в ар-

мию призвали и старую специальность вспомнили — в механики-водители определили. Подучили немного в тылу, и готов — полезай в люк.

Речь у Шаронова неторопливая. Слова и фразы он выговаривает твердо, отчетливо. Они сразу приковывают к себе внимание, и все слушают его, не перебивая и не переспрашивая.

— А, наверное, интересно учителем быть, — задумчиво произносит Егорка, когда он умолкает.

— Интересно — не то слово. Я бы сказал — увлекательно!

— А я только шесть лет учился, — говорит Егорка. — Семилетки в нашей деревне не было. А за сорок километров в школу мать не пустила. На лесозаготовки махнул. Возчиком вкалывал.

Словно припомнив что-то приятное, он мечтательно улыбается и продолжает рассказывать:

— Меня еще пацаном все звали по имени-отчеству. По-другому нельзя: в нашей деревне и в бригаде одни Егоровы были. Только и различали по отчествам.

— Теперь понятно, почему ты сам всех на «вы» и по имени-отчеству называешь. Домашняя привычка?

— Точно.

Шаронов переворачивается на другой бок, лицом к Смыслову.

— А ты, Смыслов, сколько учился?

— Я побольше немножко. Девять классов закончил. Дальше биографию рассказывать?

— Мне, например, интересно...

— Дальше учиться война помешала. Поступил на завод. Через полгода в армию загремел. По собственному желанию. Не сказал в военкомате, что у меня бронь. А там проглядели...

Поочередно, но без навязчивости выпрашивает Шаронов каждого. Наверное, так же вот он знакомился и со своими учениками. Доходит очередь до меня?

— В армию взяли из десятого класса. Сколько было Семнадцать — сколько же еще может быть! Мать — учительница. Отец на фронте, старшина-пехотинец. Брат Валентин воюет с первого дня...

Меня обрывает на полуслове голос спаружи:

— Это чья машина? Какого полка?

Конец брезента приподнимается, и в дыру-лазейку просовывается сержант в сером вылинявшем треухе. Пока он путается в брезенте, лица не видно, но голос знакомый.

— Зуйков, ты?! Откуда свалился? — вскрикивает Юрка. — Влезай быстрее...

Он помогает сержанту, шурящемуся после яркого света, протиснуться поближе к коптилке, торопливо направляет брезент и атакует нежданного гостя вопросами:

— Ты откуда взялся? Говори же. Тебя из штаба прислали?..

— Подожди. Дай передохнуть...

Да, это телефонист взвода управления Зуйков. Теперь и я его узнаю. Непослушными, негнущимися пальцами он расстегивает верхние крючки шинели:

— Я вас с ночи разыскиваю. Сто верст исходил. И пешком, и на пузе — по-всякому. Вот — поглядите...

Приподнявшись насколько позволяет наш стальной потолок, он показывает рукава и грудь, перепачканные черноземом и глиной.

Но Юрка не дает ему отдышаться:

— Что случилось со штабом? Ты там был?

— Все почти без штанов убежали, — наконец произносит Зуйков. — Немецкие автоматчики из-за бугра выскочили. Мы еле успели в лесу схвататься...

— А радисты где? Где Журавлев?

— А кто знает где. Меня сразу из леса сюда послали. Сам полковник приказал. А Журавлев свою рацию вынес, это точно. Я сам видел. Только питание он выбросил — в нем ведь полпуда!

Немного отдышавшись, Зуйков начинает рассказывать подробно о том, что случилось в Нерубайке минувшей ночью. Он говорит, не повышая голоса, тягуче и монотонно. Но обо всем по порядку, не перескакивая с одного на другое, и из его слов постепенно вырисовывается картина событий.

Нерубайка — это десяток хат, которые, будто нарочно, подставили противнику свои бока. С запада они представляют отличную мишень для орудий и минометов, потому что видны даже из Омель-города. Зато с юга деревушка прикрыта бугром, за которым начинается долгий спуск в болотистую низинку. С этой стороны вроде и не было никакой опасности. А немцы ударили именно оттуда. В деревне начали рваться мины. Вспыхнули соломенные шапки хат. Огонь осветил цепи немецкой пехоты, скатывающиеся с бугра.

— Мы побежали к лесу, — рассказывает Зуйков, сосредоточенно оттирая ладонью зажатое ухо. — И тут начальник штаба Петров выскочил поперек дороги с пистолетом. Остановил всех. Шоферам приказал вернуться, а остальным бежать. За деревней он догнал нас на «студебеккере». На ходу посажал всех в кузов... Только одного повара убило. Его с подножки автоматчики срезали. Они метров за триста были. Всю машину продырявили. А больше никого не задело...

— Что же вы не оборонялись? — нетерпеливо спрашивает Егоров.

— Обороняться! Тебя бы туда! — Зуйков смотрит на него с изумлением и иронически усмехается. — Попробуй обороняться, если нас человек тридцать было, а их три сотни. Ладно, Петров не растерялся, а то бы многие там остались.

Вот тебе и «Солнце». Вот тебе и ругань Кохова и оскорбления Грибана. Отыгаться на нас, радистах, можно. Но как мы могли в то время установить связь, если Журавлев драпал вместе со всеми?

Если верить Зуйкову, в Нерубайке сейчас целый батальон немцев. Они с минометами и броветранспортерами. Понаехали автоматчики-мотоциклисты. И кто знает, не взбредет ли им в голову ударить по нашей высоте с тыла? Кохов, пожалуй, вчера был прав, что на этом «ключе к обороне» можно оказаться запертыми на крепкий «замочек». Судя по всему, не обманывает чутье капитана.

Ведем немного отдохнувшего Зуйкова к комбату. Он так и не успел отогреться. Зябко поеживается, потуже запахивает шинель, застегивает ее на все крючки.

— А что вы тут мерзнете под машиной? Почему в блиндаже не живете? — спрашивает Зуйков, прикрывая лицо от ветра прохуdivшейся во многих местах вязаной шерстяной варежкой.

— Не построили нам здесь общежития. А самим строить нет смысла, — говорит Юрка. — Ты вот, Семеныч, в приметы веришь. Веришь, я знаю. А я давно приметил — только устроишься капитально на одном месте, сразу перегоняют на другие позиции.

— Да у вас тут рядом готовый блиндаж. Я прямо на него наткнулся. Думал, вы там. А он пустой.

— Где?

— Вот тут рядом. Вон бугорок виднеется.

— Ну-ка, Дорохов, разведай. Проверь показания сержанта и доложи, — приказывает Смыслов.

Шагаю к бугорку, который на поле, изрезанном бороздами, едва заметен. Рядом с холмиком открывается вход. И в самом деле — блиндаж. Вниз к грубо сколоченной дощатой двери сбегает земляные ступеньки. Внутри пахнет сыростью и прелыми листьями. Но сделано все добротно. Нары, сооруженные из ровных жердей, застланы мелкими сухими ветками. Стойки из неотесанных толстых бревен наполовину спрятаны в земляные стены. Слева от входа — печурка с потемневшей золой в топке. Рядом на высоком пеньке стоит давно потухшая лампа-

гильза. А сверху массивные бревна — я с удовлетворением поглаживаю рукой их шершавую кору.

О таком убежище мы могли только мечтать. Лес совсем рядом. Дров сколько угодно: топи и сиди у печурки, грейся в свое удовольствие.

Сегодня же отпразднуем здесь новоселье. Натопим — и выветрится вся сырость. Натаскаем свежих веток. Застелим нары брезентом. Это же чудо! Подземный дворец! Хотя и вместит он человек семь-восемь, не больше.

Спешу поделиться радостью со Смысловым и Бубновым. Расчетам пельзя уходить от машин, а нам можно. Теперь мы не будем стеснять их. Наоборот, они будут ходить к нам греться.

Смыслов тоже радуется:

— Надо Бубнову показать. Пошли к нему.

Командир взвода слушает нас рассеянно. Не поймешь — доволен он или нет. Выслушав, приказывает:

— Смыслов, займись блиндажом. Заряжающих пригласи. Они помогут. А ты, Дорохов, пойдешь с Коховым в штаб саперного батальона. Капитан останется там и будет поддерживать постоянную связь с командным пунктом бригады и штабом полка. Вы с Зуйковым поступаете в его распоряжение.

Вот тебе и новоселье!.. Рано я обрадовался. «На переднем крае все переменчиво...» От кого-то я слышал такую фразу. Пожалуй, от самого Бубнова. И сейчас убеждаюсь в этом на собственной практике. Кажется, я начинаю набираться солдатского опыта.

«ЗАЧЕМ ВАМ ДЕНЬГИ?»

Мы пересекаем балку. Поднимаемся по скользкому лесистому склону на соседнюю высоту.

Осторожно, по-заячьи оглядываясь по сторонам, впереди семенит Зуйков. За ним Кохов. Сзади с автоматом,

снятым с предохранителя, следую я. Перед выходом капитан проверил у нас оружие, и сам кроме пистолета захватил автомат.

— Кто знает, может быть, там, где Зуйков ползал на пузе, придется прорываться с боем, — сказал он Грибану на прощание.

Минуем лесок и поднимаемся к большой соломенной скирде, одиноко возвышающейся на лысом холме.

— Вот тут меня обстреляли, — оборачивается Зуйков. — А откуда стреляли, так и не понял.

Кохов передает автомат сержанту, приказывает нам замаскироваться в соломе, а сам долго, пристально смотрит в бинокль то в одну, то в другую сторону. Наконец он решает:

— Давайте сделаем так... Сначала пойдет Зуйков. За ним я. Если всем сразу двинуться, группу заметят. Давай, Зуйков, двигай. Стрелять будут — ложись и ползи!

Зуйков перебрасывает автомат за спину и идет вперед. Метров через пятьдесят он оглядывается, машет пам рукой, приглашая последовать за ним, а сам устремляется вперед тяжелой медлительной рысцой. Но капитан не спешит.

— Успеем, Дорохов. Подожди, — говорит он, сверля глазами спину сержанта. — Не зная броду — не суйся в воду. На передовой все надо делать с умом.

По голосу Кохова я чувствую — он волнуется. Это заметно и по его сузившимся глазам, и по тому, как нервно перебирает он пальцами тоненький ремешок бипокля.

Зуйков снова переходит на шаг, опять оборачивается и снова машет рукой. Он уже далеко — до него метров триста.

— Ну, Дорохов, теперь ты давай. Быстро. Я за тобой.

Стараюсь следовать Васиному примеру: сначала иду не спеша, потом прибавляю шаг и бегу до тех пор, пока не догоняю поджидающего меня сержанта.

— Здесь уже не достанет. Тут мы скрыты вон тем бугром, — с облегчением вздыхает Зуйков. — По-моему, они били оттуда.

Теперь очередь капитана. Придерживая кобуру с пистолетом, Кохов бежит резво, вприпрыжку, время от времени поворачивая голову вправо и влево. А пожалуй, не зря опасается капитан. На нас с Зуйковым немцы могли просто не обратить внимания: мы совсем неприметные в своих серых солдатских шинелях. А на Кохове полушубок. В бинокль или оптический прицел нетрудно разглядеть, что он офицер.

Но все кончается благополучно. Проходим несколько километров по мерзлому полю и спускаемся в балку, где, по сведениям Кохова, должен быть командный пункт саперного батальона.

Здесь нас ожидает сюрприз: на дне оврага, у входа в блиндаж, обхватив обеими руками толстый коричневый портфель, на ящике из-под снарядов сидит начфин полка лейтенант Гальперин.

Его лицо густо поросло рыжей до красноты щетиной. Хромовые сапоги и полы шинели заляпаны грязью. На шее, поверх высокого воротника гимнастерки, серо-зеленый клетчатый шарф. Увидев нас, Гальперин порывисто бросается к Кохову. От бурной нескрываемой радости на ресницах лейтенанта появляются слезы.

— Это счастье, счастье, что я вас нашел, — почти шепотом, растроганно выговаривает Гальперин, хватая Зуйкова и капитана за рукава. — Я здесь целую ночь просидел. Вот тут, на этих ящиках. Понимаете, целую ночь!..

Он торопится скорее высказать все, что переживал, и словно боится, что мы пройдем мимо, не станем слушать.

— Я не мог найти батарею Грибана. Я не могу выдать им деньги. Я не имел права пойти один, — проглатывая слова, буквально захлебывается начфин. А мы стоим, растерявшись от неожиданной встречи, и с удивле-

нием разглядываем лейтенанта, всегда чистенького, всегда выбранного, а теперь грязного, обросшего и помятого.

Немного успокоившись, Гальперин доверительно сообщает, что в портфеле у него солидная сумма денег, что командир полка приказал ему отправиться на высоту к Грибану — выдать артиллеристам денежное содержание.

«И зачем это было делать? На что они нам — деньги? Уж не думает ли полковник, что на нашей высоте есть промтоварные магазины и «Гастрономы»?»

Но хотя мы все трое искренне удивляемся такому приказу, начфину от этого не легче. Он обязан как можно быстрее попасть на высоту.

— А ты отдай портфель Дорохову. Он один отнесет, — неожиданно предлагает Кохов.

Гальперин вздрагивает, застывает, смотрит на капитана с испугом.

— Вы что?! Разве так можно шутить!.. — Его желтые ресницы начинают часто-часто моргать. Гальперин с опаской оглядывается на солдат, которые расположились поблизости и прислушиваются к нашему разговору.

Вслед за Коховым мы сходим по ступенькам в блиндаж — капитальное сооружение, какие умеют строить только саперы. Стенки траншеи, ведущей к входу, забраны горбылем. Массивная дверь сделана из толстых, гладко обструганных досок. А сверху три наката из бревен, подобранных по толщине одно к одному. Такое перекрытие, наверное, способно выдержать солидную бомбу, не говоря уже о снарядах любого калибра.

В дверях нас встречает высокий плечистый майор. Он отходит на середину блиндажа и, наклонив голову, как будто потолок мешает ему выпрямиться, смотрит на нас выжидательно и изучающе. На его выпуклой, изрядно поношенной гимнастерке больше десятка орденов и медалей, которые при ярком электрическом освещении отбрасывают слепящие зайчики света.

У майора простое лицо с крупными грубоватыми чер-

тами, прямой нос и темные кустистые брови. Судя по взгляду, глаза его не умеют прятаться, всегда смотрят открыто и смело. И только белая шапка седых волос выглядывает у него чужой, искусственной. Она напоминает парик.

Если судить по лицу комбата — здоровому, ровному загару щек, по его высокому гладкому лбу, на котором нет ни одной морщинки, — ему не дашь больше тридцати — тридцати пяти. Но седина делает майора гораздо старше. словно на память о молодости оставила она ему нетронутой маленькую темную прядку волос, стрелкой уходящую к левому уху. Ее заметно сразу, как только он поворачивается боком.

И здесь, в блиндаже, тоже все сделано капитально и аккуратно. Стена, к которой вплотную примыкает массивный стол, обшита широкими гладкими досками. Между ними нет ни одной, даже самой крохотной щелки. За перегородкой, возведенной до середины землянки, видна самодельная кровать. Она надежно покоится на чурбаках, врытых в землю. Вторая такая же — у стенки справа. На кроватях синие байковые одеяла и настоящие пуховые подушки, которых я не видел уже давненько. У нас в полку даже Демин не возит с собой подушек.

Пока Кохов беседует с майором, продолжая рассматривать помещение. У каждой койки по табурету. В углу буржуйка. На ней зеленый эмалированный чайник, — наверное, трофейный. У стола две скамейки — настоящие, со строганными ножками и распорками. На самом видном месте вырезанный из журнала цветной портрет Сталина. Над телефоном и картами, разбросанными на столе, висит офицерская планшетка. В блиндаже и тепло, и светло, и как-то по-особому, по-домашнему уютно.

Отдохнуть бы здесь денек-другой, поспать на этих пуховых подушках, погреться у жарко натопленной буржуйки, посидеть с книжкой под настоящей электрической лампочкой, от которой по потолку и стене тянется тол-

стый резиновый шнур — вниз, в угол, к автомобильному аккумулятору, прикрытому сверху фанерой.

Наговорившись вдоволь с майором, выяснив все вопросы, Кохов заметно оживает. Он рассказывает комбату несколько коротеньких анекдотов и после каждого сам начинает смеяться первым. Наконец, словно вспомнив о нашем присутствии, поворачивается ко мне.

— Значит, так, — говорит он бодро и весело. — Я остаюсь здесь, на командном пункте батальона. Зуйков пока будет со мной. А тебе, Дорохов, особое задание. Отведешь лейтенанта Гальперина на высотку. Помни, ты отвечаешь не только за жизнь и здоровье начальника финансовой службы, но и за всю полковую кассу.

Выговорившись, Кохов доверительно поглядывает на майора, снимает полшубок, небрежно бросает его на кровать.

— Дорохов, вы и старший сержант Смыслов отныне в моем распоряжении. Вашего командира взвода лейтенанта Бубнова я об этом предупредил. Начиная с завтрашнего утра — с восьми ноль-ноль — вам обоим поочередно являться ко мне с допесениями через каждые четыре часа. Понятно?

— Ясно! А с какими донесениями?

— Будете наблюдать за передвижением противника между Омель-городом и Нерубайкой и передавать все данные мне, постоянно держать меня в курсе. Понял?

— Так точно!

— Повтори.

— Являться с результатами наблюдений через каждые четыре часа по очереди со Смысловым!

— Правильно! Люблю, когда понимают сразу!

Кохов удовлетворенно смеется.

— Минутку, еще не все. Сейчас товарищ майор даст пакет командиру саперной роты. Передашь его Грибану. Пусть он срочно обеспечит доставку пакета товарищу лейтенанту...

— Редиву, — подсказывает майор, подписывая бумажку. Он вкладывает листок в конверт и протягивает его мне:

— Учти, секретное.

И странно — оттого, что он с первого слова со мной на «ты», мне ничуть не обидно. Даже наоборот, его властный тон вызывает уважение.

В обратный путь мы шагаем вдвоем с Гальпериным. Я иду впереди, потому что лейтенант упорно уступает дорогу.

— Я очень беспокоюсь за деньги и не спал целую ночь, — жалобно, искренне и проникновенно говорит Гальперин. Он вообще искренний человек и не умеет скрывать своих чувств. И лейтенантом он стал, наверное, по какому-то недоразумению. Все манеры, привычки, слова у него сугубо штатские. Он даже не умеет, не научился приветствовать по-военному. И армейская форма сидит на нем как-то боком, разъезжается на его фигуре и вкривь и вкось.

Рассказываю, что на нашем пути будет опасный участок, который простреливается немцами. Гальперин неожиданно забегает вперед, останавливает меня и с детской непосредственностью восклицает изменившимся голосом:

— А как же деньги?! Мы не имеем права идти на риск!

— Но у нас нет другого пути.

Я долго объясняю ему обстановку. Гальперин стоит передо мной встревоженный, нахохлившийся и слушает с преувеличенным вниманием. В конце концов уяснив, что особой опасности нет, что час назад мы без помех прошли этой дорогой втроем, он отступает в сторону, и мы снова двигаемся вперед к скирде.

Хлюпают под ногами калужины — не промерзшие в глубину борозды, хрустят прихваченные морозом верхушки кочек...

«А Кохову повезло... Сейчас он, наверное, уже отдыхает в мягкой теплой постели или сидит у железной печки, первый раз по-настоящему отогревается за все эти тревожные и холодные дни и ночи...»

Впереди, в нескольких метрах от нас, с верхушек борозд взвиваются крохотные непельно-серые фонтанчики. И тотчас же раздается противное взвизгивание пули, отскакивающих от земли рикошетом.

— Бежим!!

Пригнувшись, втянув голову в плечи, бросаюсь вперед и бегу, не оглядываясь, больше ничего не видя перед собой, кроме мелькающих под ногами борозд. Останавливаюсь за скирдой. Оглядываюсь на лейтенанта и застываю от страха и удивления.

Гальперин лежит вниз лицом. Не поднимая головы, он то и дело выбрасывает перед собой портфель и, словно подтягиваясь к нему, медленно, по-пластунски продвигается вперед. А вокруг него все больше и больше белесых фонтанчиков, взбиваемых пулями. Его расстреливают из пулемета!

— Бегом! Бегом! — кричу ему во все горло. Но он словно оглох. Каких-нибудь тридцать метров осталось ему до скирды. Пробежать их можно в считанные секунды, а так он не доползет. Потому что немцы все равно его видят и все это время будут его расстреливать. Неужели он этого не поймет?!

«Фью-фью-фью...» Пули сверлят высокие борозды перед его носом.

«Ну зачем было ложиться! Надо бежать, бежать!..»

Фонтанчики грязного снега вспыхивают сбоку и сзади. На этот раз недолет. А лейтенант все ползет и ползет. Ни разу не подняв головы, ни разу не взглянув в мою сторону. А может, ему забило песком глаза? Так случается, если пуля ударит в землю перед самым лицом...

Я как-то должен помочь ему. Как? Подбежать — значит привлечь внимание немцев. Они сразу взбесятся, уси-

лят огонь. А сейчас обстрел затихает. Пожалуй, немцы теряют его из виду... Лейтенант больше не выбрасывает портфель вперед. Волочит его по кочкам. Переваливаясь с боку на бок, он отталкивается от борозд и коленями и ступнями. И мне кажется, что его не оторвет сейчас от земли никакая сила.

Вот до скирды остается несколько метров. Подбегаю и подхватываю Гальперина под руки.

«Фью-фью...»

Поздно! Мы на четвереньках ползем по мерзлой соломе. За скирдой помогаю ему подняться, но он не хочет. Садится, кладет портфель на колени и жадно, часто вдыхает воздух. Глаза его расширены. В них безумная радость. В углу портфеля свежая, пробитая пулей дыра, но начфин не замечает ее, и я тоже молчу, чтобы не пугать его.

Лейтенант стаскивает с себя шарф, вытирает им грязные щеки, нос и наконец улыбается какой-то жалкой, вымученной улыбкой.

— Я первый раз под обстрелом, — виновато произносит Гальперин. Глотнув побольше воздуха, он неожиданно спрашивает:

— Ну зачем вам деньги? Ну зачем они вам?!

И в самом деле — зачем? Мы спокойно бы их получили и после, когда закончится оборона высоты. Получили бы все, кто останется жив. А погибшим они все равно не нужны.

Как могу, успокаиваю лейтенанта. А он не слушает — сидит на мерзлой соломе, судорожно обхватив портфель, и повторяет одно и то же:

— Это же глупо!.. Это же глупо... Это же глупо...

«ПУШЕЧНЫЙ СНАЙПЕР»

Мы лежим на ящиках из-под снарядов, радуемся выглянувшему солнцу, безоблачному небу и тишине. Похо-

зайничав на высоте два дня, метель унеслась на запад, за лес, уступив место теплому южному ветерку. В воздухе запахло хвоей и талой водой. И сразу — за одно утро — обнажились темные отвалы борозд и все поле, насколько хватает глаз, покрылось черными струпами.

Потемнела и дорога, протянувшаяся от Омель-города к Нерубайке. В бинокль хорошо видно, как проползают по ней машины. Различимы даже фигурки мотоциклистов.

По приказанию Кохова мы с Юркой осваиваем новую фронтную специальность — разведчиков-наблюдателей.

Мы хотели оборудовать наблюдательный пункт по всем правилам военной науки, но Грибан не разрешил выдвигаться ближе к противнику и «копаться у него на глазах». Вручив Смыслову бинокль, он указал место ИП метрах в сорока от землянки. В конце концов все получилось просто и хорошо. Мы притащили сюда два ящика из-под снарядов, расколотили их, крышки положили на землю, чтобы можно было наблюдать лежа на досках, и приступили к своим немудреным обязанностям.

С нашего ИП не видна вся дорога. Просматривается лишь небольшой отрезок. Но нам этого достаточно, чтобы считать по головам мотоциклистов и разглядывать грузовые машины. Зато у немцев нет никаких шансов обнаружить нас. На ходу им некогда и не с руки вести специальное наблюдение за противником: они к этому не подготовлены, потому что главное для них — побыстрее проскочить в деревушку. И они, прибавляя скорость, несутся по открытому участку во весь опор.

Рядом со мной пристроились на досках от ящика Левин и Грибан. Один пришел проверить нашу работу, другой — покурить. Левин сосредоточенно свертывает самокрутку, затем достает плоскую железку — кресало, извлекает из другого кармана коричневый камешек и скрученный из ваты фитиль. Сунув сигарку в зубы, он ловко

высекает из камня искры, от которых вата тотчас начинает дымиться.

Сергея Левина в полку называют «пушечным спайлером». Говорят, что это неофициальное звание бывалый старшина оправдывает и на передовой, и в тылу. На полковых учениях он всегда стреляет последним. Иначе макетов не напасешься: после его выстрелов от бревенчатых и дощатых макетов, изображающих тавки, остаются только груды досок и щепок.

Сергей берет у меня бинокль и, посасывая сигарку, долго разглядывает дорогу.

— Подогнать бы сейчас пушку вон к тем кустикам, и такую нашу заварить можно, — говорит он, не отрываясь от стекол. — Оттуда вся дорога — как на тарелочке. Прямой наводкой любую цель накрыть можно, ни одна живая душа не уйдет.

Это он говорит специально для Грибана, который сидит рядом. Левин не первый раз просит разрешения наказывать немцев. Но комбат по-прежнему непреклонен.

— Ты думаешь, мне не хочется попутать фрицев, — говорит Грибан, кивая в сторону дороги. — Но попробуй незамеченным к тем кустам подползти. Самоходок-невидимок для нас еще не придумали.

Левин змурится, как будто хочет что-то сообразить и не может. Взгляд его становится озабоченным. Он продолжает настаивать на своем без прежней уверенности:

— Можно туда ночью пробраться. Замаскировать там машину, а утром ударить.

— А обратно они тебя выпустят? Через этот бугор как будешь переваливать? Боком к противнику, так? Бортиком? Так, я спрашиваю?

— На скорости можно перескочить.

— На скорости!.. Да что с тобой говорить — ты сам не хуже меня понимаешь...

Их разговор прерывает Смыслов.

— Справа на вражеской высоте блуждающий фриц, —

кричит он, от блиндажа. — Топают в направлении батареи!

Оглядываемся. На соседней высоте одиноко маячит долговязая фигура солдата. Он идет, выставив автомат, останавливается, смотрит на нас, делает еще несколько шагов, снова замирает на месте.

— Разведчик! Сейчас я его шугану, — кричит Юрка. Он щелкает предохранителем автомата и отбегает.

— Смыслов, на место! — одергивает его Грибан. — Из твоей трещотки не достанешь отсюда!

— Точно, разведчик. Как лиса вынюхивает. — Это голос Сережки Левина.

Между тем солдат перекидывает автомат за спину, поворачивает обратно и идет, изредка оглядываясь. Грибан опускает бинокль. Глаза его загораются каким-то озорным огоньком. Мельком взглянув на него, Левин вскакивает с места и просит почти умоляюще:

— Разрешите, товарищ старший лейтенант! Я из него салат сделаю.

— Откуда он там появился? — с запоздалым удивлением говорит Грибан. — Что ему надо? А вообще нельзя его упускать.

И отрубает коротко:

— Один снаряд!

— Есть, снаряд!

Левин прыжками несется к машине и через минуту с Шароновым исчезает в люке, а Егоров быстро и ловко сдергивает с гусениц брезент. Выпустив струю серого дыма и стрельнув искрами, стальная «клушка» неуклюже сползает со своего гнезда и тяжело разворачивается на месте. Хобот ее орудия медленно поднимается вверх, сдвигается в сторону.

Будто почуяв недоброе, гитлеровец останавливается, выжидательно глядит в нашу сторону, вдруг поворачивается на сто восемьдесят градусов и бегом пускается на

гребень высоты. Успеет ли выстрелить Левин? Попадет ли «пушечный спайпер» в такую необычную цель?

— Тикай, бо тарарахне! — громко произносит Смыслов. Но воздух раскаляется, заглушив его голос. Рядом с фигурой немца мгновенно вырастает землистый куст взрыва. Нам хорошо видно, как, сделав два неуверенных шага, солдат спотыкается и тычется вниз лицом.

— Капут! Один — ноль в пользу Левина, — констатирует Юрка. Но он опять не успевает договорить. «Убитый» вскакивает и широкими прыжками взбегают на самую вершину высоты. Еще немного, и он скроется за перевалом, где его не достать.

Снова раскатисто и упруго грохочет выстрел. На этот раз чернота разрыва целиком скрывает вражеского разведчика. Но ветер быстро сдвигает дымовое облако в сторону. Нет, на этот раз Левин не промахнулся: немец лежит, застыв в неудобной позе, рядом с воронкой.

— Здóрово! Нажал кнопку — и орден. — Юрка подталкивает меня под локоть и переходит на шепот: — Как, потвоему, наградят за это Серегу?

— Могут, конечно...

Самоходка ползет к своей яме. На ходу поднимается люк, и из него высовывается улыбающаяся физиономия Левина. Его белые льняные волосы торчат в разные стороны.

— Товарищ гвардии старший лейтенант, ваше приказание выполнено. Противник отправлен на небеса, — кричит он сверху.

Не спеша — он все делает степенно — Левин спрыгивает на землю. Но Грибан встречает его довольно холодно.

— Кто разрешил расходовать второй снаряд?

В ожидании ответа губы Грибана плотно сжаты и потому становятся тоньше. Кажется, его взгляд не предвещает Левину ничего хорошего.

— Он мог скрыться. Что я, не понимаю? — старшина

растерянно и смущенно разводит руками. Такого оборота он явно не ожидал.

— Не твое дело. Приказ слышал?

— Так точно. Я пока не глухой, — наводчик вытягивается по стойке «смирно». И это еще больше злит Грибана.

— Срам! Ты же первая скрипка на батарее, а на одного вонючего гада выпустил два снаряда!..

— В будущем постараюсь пятерых одним укокопить. И будем в расчете, — спокойно предлагает Левин. — К тому же я обязан проявлять инициативу.

— Сначала выполни приказ, а потом и инициативу проявляй, понял? Я разрешил один снаряд, а ты — два. Вот Егорову я бы три разрешил. А тебе — нет... Запомни!

А глаза Грибана уже улыбаются. Появляется ухмылка и на лице Левина. Слишком хорошо понимают они друг друга, чтобы долго разговаривать на повышенных тонах.

— Ставьте машину на место, — наконец говорит Грибан примирительным тоном. — Смыслов и Дорохов! Сходите к убитому и общите его. Не сейчас, а то подстрелят, как зайцев. Вечером. Если есть документы, забрать.

— Будет сделано, — весело откликается Юрка, позавыв сказать набившее оскомину «есть». А вообще комбат отдал свое приказание таким тоном, что вытягиваться перед ним было бы просто нелепо. На лице Левина мелькает улыбка. Он подходит к люку механика-водителя, делает знак рукой — «Становись на место!».

Грибан смотрит на Сергея. Перехватываю его взгляд, и меня поражают глаза комбата. Только что злился, и вдруг столько в них доброты и тепла. Это понятно — Левин его гордость, его любимец, его первая опора на батарею.

Вечером, когда высотку окутывают сумерки, мы отправляемся к убитому. Гитлеровец лежит в странной

позе. Кажется, он сначала присел на корточки и из такого положения рухнул вперед: одна нога так и осталась подвернутой. Руки судорожно вцепились в мерзлые кочки. На маскировочном халате, во многих местах распоротом осколками, следы запекшейся крови. Воронка от снаряда в трех-четыре шагах.

Я смотрю на белые, шевелящиеся на ветру волосы, на красивый, окаменевший от холода профиль солдата, и мне нисколько его не жаль: этот получил свое...

— Смотри вперед, а я общу, — тихо говорит Смыслов. Наклонившись над трупом, он начинает торопливо обшаривать его.

Поворачиваюсь в ту сторону, куда кивнул Юрка, и вскрикиваю от неожиданности: в дымчатом вечернем сумраке маячат две фигуры. С каждым шагом они становятся все различимее. Двигаются прямо на нас.

— Ложись, — шипит Юрка, опускаясь рядом с убитым. Он быстро выхватывает что-то из его карманов и отбегает назад. Я следую за ним.

— Стой! — шепотом останавливает меня Юрка. Он щелкает предохранителем затвора, ложится поудобнее в борозду и, приготовившись стрелять, берет приближающиеся фигуры на мушку.

— Хальт!

Я вздрагиваю. Это заорал Юрка. А в ответ доносится спокойная немецкая речь. Видимо, гитлеровцы принимают нас за своих?

— Огонь по гадам, — сквозь зубы цедит Смыслов, и его автомат выплевывает несколько коротких очередей. Подхлестнутый выстрелами, торопливо нажимаю на спуск. ППШ работает безотказно. Он послушен каждому моему движению, и меня охватывает какое-то радостное возбуждение.

— Хенде хох! — изо всех сил кричу в темноту. Но слова заглушают ответные выстрелы. По вспышкам видно, что стреляет один. Значит, одного ухлопали.

И как-то сразу, мгновенно наступает звенящая тишина.

— Сколько их там? — спрашивает Юрка.

— Видел двоих.

— А сейчас?

— Не видно ни одного.

Стало еще темнее. Я вглядываюсь в загустевшие сумерки до боли в глазах. Но фигуры солдат словно растворились в вязком сером тумане.

— Бумажник я забрал. Давай по одному восвояси, — командует Юрка. — Иди первый. Не поднимайся.

Пригнувшись, отбегаю назад. Юрка выпускает в темноту длинную очередь и подползает ко мне.

— В ловушку бы не попасть, — говорит он, поднимаясь. — Надо быстрее драпать.

Оглядываясь по сторонам, спешим вниз в лощинку. Юрка взбудоражен не меньше меня. Как только достигаем балки, где мы в абсолютной безопасности, он начинает говорить без умолку:

— Интересно, вlepили мы им или нет? Если живы остались, наверняка их понос прошиб.

На душе становится легко и безоблачно, словно после большой удачи, хотя ничего особенного как будто и не случилось.

— А здорово я с ними шпरेхал?! — Юрка не скрывает удовлетворения собой. Весь он лучится радостью. Улыбка не сходит с его лица всю дорогу до самой землянки, у которой нас встречают почти все батарейцы.

— Наконец-то! Я уже хотел посылать на выручку, — говорит Грибан, когда Смыслов передает ему толстый бумажник. — Думал, в засаду попали.

— А мы и в самом деле попали, — не моргнув глазом, невозмутимо докладывает Юрка. — Подходим, а там кроме убитого еще два живых фрица нас ждут. Дорохов им кричит: «Хенде хох!», а они стрелять.

Грибан недоверчиво косится на меня:

— Правда, кричал?

— Кричал.

— И как начали они лупить! — Юрка увлекается и описывает ночной бой «двое на двое»: — Я тоже решил с ними по-ихнему поговорить, они опять за автоматы. Пришлось применить огнестрельное оружие. — Он прикладывает автомат к плечу и наглядно показывает, как мы «применяли оружие». Для большей убедительности Юрка звонко щелкает языком, изображая серию выстрелов.

— Вы их убили? — заблестев глазами, спрашивает Егоров.

— Может, и уколошили. А может, ранили, — маневрирует Юрка, уклоняясь от прямого ответа. — Если ранили, то они уползли.

— В общем, задание перевыполнили! Молодцы! — подводит итог Грибан.

Двумя пальцами он раскрывает бумажник и с выражением брезгливости и отвращения просматривает его содержимое.

— Вроде обер-лейтенант отвоевался, — говорит он, разглядывая желтый картонный квадратик. Затем возвращает бумажник Юрке: — Отнесите все Кохову. Пусть разбирается.

Судя по озабоченному выражению лица, Егорку мучает какая-то значительная, важная мысль. Она буквально выпирает из него.

— Жалко, те двое уползли, — произносит он с горьким сожалением. — Не надо было их упускать. Догнать надо было обязательно.

— А может, вы от них уползли? — спокойно спрашивает Левин, с хитринкой поглядывая на Смыслова.

Но того не так-то просто поймать на слове. Глядя прямо в лицо Грибану, он твердо парирует вопрос Левина:

— Нам было приказано принести документы. Преследовать не имели права. Понятно?

И как все ловко у него получается! Даже я начинаю верить, что дело именно так и было, как он представил: нам пришлось отбивать труп у охранявших его солдат. Юрка убедил в этом всех. Даже меня: мне начинает казаться, что его версия о нашей стычке с немцами абсолютно, во всех деталях, соответствует истине.

ЛИНА

Юрка обо всем узнает первым — кого ранило или убило, в кого влюбился майор Иванов или капитан Сидоров, кого к какой награде представили и кому вместо ордена в штабе корпуса «показали дулю». Он первым догадывается, в какой день и час начнется наступление, куда будет нанесен главный удар, когда и в какой город бригаду отведут на переформирование.

Все новости расходятся по полку с его легкого языка. Порой можно подумать, что у него не два, а четыре уха. Но в последнее время он заскучал. Наверное, от недостатка сногсшибательных новостей, о которых можно вдоволь порассуждать на досуге, а может, и оттого, что несколько дней подряд мы живем без особых тревог и волнений, если не считать «булавочных уколов» немецкой пехоты.

Но сегодня Юрка снова выступает в своем амплуа. Он врывается в землянку взволнованный, возбужденный, и слова выплескиваются из него, как пули из автомата — то короткими, то длинными очередями.

— Вы тут сидите и ничего не знаете?!

Оглядев наши постные лица и сделав многозначительную паузу, Юрка выпаливает одним духом:

— Эх вы! Как кроты, забились под землю и дрыхнете. Теперь не усидите тут. К нам такой сержант прибыл!

В хромовых санюжках, в новеньком полушубочке. Глаза — во! Идет, словно пишет...

— А пишет, как рисует. А рисует, как курица лапой, — улыбается Бубнов, подстраиваясь под интонацию Юрки. — Ты бы, Смыслов, лучше кашу сварил.

Юрка буквально набрасывается на командира взвода:

— Товарищ лейтенант, вы не смейтесь. Вы поглядите сначала. Сержант-девчонка... Вы увидите — упадете. Молоденькая. Глазищи черные — так и ест ими. Из-под шапки кудряшки выскакивают. А фигурка! — он закатывает глаза. — Любая балерина зарыдает от зависти. Говорит, к нам на высоту прислали. И откуда такая краля?!

— Наверное, артистка Большого театра, — приподнимается на локте Бубнов. — Отбилась от труппы. Узнала, что здесь Смыслов, — и сразу сюда.

Но Юрка уже завелся, как говорится, с одного оборота, и теперь его не остановишь, хоть из пушки стреляй над ухом.

— Ко мне подошла, спрашивает: «Это высота 202,5?» Я говорю: «Да». «Наконец-то нашла», — говорит. Сейчас на ящиках сидит — отдыхает. Я с ней минут пять поговорил — сразу втюрился, честное слово.

— Неужели правда такая красавица? — с нескрываемым интересом спрашивает Кравчук. И мы наперебой забрасываем Смыслова вопросами.

Довольный произведенным эффектом, Юрка старается продлить дорогие его сердцу минуты всеобщего внимания и явно затягивает разговор... Наконец мы узнаем, что девчонка-сержант — санинструктор саперного батальона, что прибыла она на высоту в распоряжение командира роты гвардии лейтенанта Редина и что жить она будет, наверное, в нашей землянке: «не на морозе же оставлять такое создание».

— Вот повезло ротному. На передовой девки с ходу

в начальство влюбляются, — вздыхает во всеуслышание Кравчук.

— Помолчи, старшина, — грубо обрывает его Бубнов. — Привык ты всех баб на один аршин мерить... Вы, гармонисты, все одинаковые. Вас бабы сами избаловали...

В полку всем известно, что Кравчук неравнодушен к женскому полу. Когда полк на отдыхе, он частенько выходит с баяном на улицу, собирает вокруг себя девчат и молодых женщин, наскучавшихся при немцах по песням и музыке, по мужьям и хлопцам. Я сам видел в Снежковке, с каким обожанием, как на кудесника, смотрели они во все глаза на старшину-гармониста. С печалью, с тоской, с любовью смотрели. А Кравчуку только этого и надо... Вот и сейчас он, конечно же, самым первым реагирует на сообщение Юрки.

— Пойду взгляну на бабу-сержанта — что там за фря такая, — говорит старшина и, набросив шинель, пробирается к выходу.

Мы молча провожаем его глазами, и в блиндаже наступает долгая, выжидательная тишина. Чувствую — меня тоже тянет наверх. Какую бы придумать причину, чтобы сходить посмотреть на «кralю»?..

— А что мы сидим? Сегодня погода лучше. Надо проветриться, — весьма кстати произносит Бубнов. И сразу все завозились, зашумели, начали собираться.

Первым из блиндажа поднимается Бубнов. Вслед за ним одеваемся и выходим мы со Смысловым.

— Сорвались!.. Будто бабу сроду не видали, — сердито ворчит нам вдогонку заряжающий Пацуков.

Погода и в самом деле отличная. Над высоткой снова сияет солнце. Осевший за ночь снежок весь в серебристых блестках. Девчонка-сержант сидит на ящике к нам спиной. Она без шапки. Коротенькая, почти мальчишеская прическа. Темные, как смоль, волосы аккуратно откинута за ухо. Она поворачивается к нам... «Боже мой! Неужели?!»

— Липа!..

— Саша! Вот здорово!..

Вцепившись мне в руку повыше локтя, она заливается радостным смехом.

— Вот видишь, я говорила: встретимся!..

Юрка многозначительно покрывает и, вскинув брови, смотрит на меня с пзумлением. В его взгляде немая зависть и удивление. Кравчук глядит исподлобья, с ухмылкой, но заметно, что он тоже огорашен.

— Да садись ты, — Липа тянет меня за рукав, пе обрацая на остальных никакого внимания. — Садись, тебо говорят... — Она отодвигается на краешек ящика, освобождает мне место рядом с собой и смеется, смеется, пе скрывая, как приятна ей встреча.

...С Линой мы познакомились в штабе корпуса месяца два назад, когда пожилой сухощавый писарь, от которого даже через стол отдавало спиртным, вручал нам направления в части. Мне — в самоходный артполк, Липе — в саперный батальон РГК.

— Вам по пути. Езжайте в село Медянка, — бросил «сухарь» п, выдохнув очередную порцию перегара, снова погрузился в бумаги.

В поисках попутной машины мы побрели по улице, то и дело приветствуя офицеров, встречавшихся на каждом шагу. Вскоре я убедился, что меня они вовсе не замечают, отвечают на приветствия ей одной. Большеглазая, с выбивающимися из-под лихо заломленной пилотки смолянными волосами, в зеленой шипельке, аккуратно облагающей ее статную фигуру, она не могла не привлекать внимания. Липа из таких девушек, встретив которую где-нибудь на улице, невольно оглянeshься, чтобы посмотреть на нее еще раз.

Так было во многих прифронтовых деревушках, через которые мы проходили. На Лину оглядывались. А однажды нас остановил майор-интендант. Спросив, кто мы

и куда направляем стопы, он долго вертел документы Лины в своих полных розовых пальцах.

— Значит, в саперный? — сказал он, задумчиво заглядывая Лине в глаза. И вдруг предложил:

— Пойдемте ко мне в минометный. Я все оформлю. Нам тоже нужны санинструкторы.

— Ему не санинструктор нужен, — с презрением сказала Лина, когда мы тронулись дальше. — Так и ест глазами. Здесь, на фронте, все мужчины такие.

Она старше меня ровно на год. Ей девятнадцать. И по званию старше. И все-таки я не мог согласиться, чтобы всех мужчин «стригли под одну гребенку». Наши мнения разошлись, и мы спорили целый день. В конце концов она сказала мне что-то дерзкое. Но обиды на нее не осталось.

На Лину вообще невозможно обижаться. Как-то так получается, что она всегда оказывается права.

От села к селу шагали мы вместе, догоняя штаб бригады, которой были приданы самоходчики и саперы. Но наступление было таким стремительным, что на месте штаба мы всякий раз заставали только телефонистов, накручивавших кабель на тяжелые пузатые катушки.

Как-то, усталые и промерзшие, постучались в первую попавшуюся хату. Приветливая хозяйка поставила на стол огромную миску борща и пристально, с тихой жалостью смотрела, как мы едим. Потом она принесла и бросила на пол охапку соломы, застелила ее домотканым рядом, подала две пуховые подушки. Помню, как наблюдая за хозяйкой Лина странно покосилась в мою сторону, и в ее настороженном взгляде я прочел затаенную тревогу. Она легла первой — на краешек постели, чуть ли не на пол, и с головой завернулась в шинель. Мы уснули, словно убитые, даже не пожелав друг другу спокойной ночи.

На следующий день она была веселее обычного. Расспрашивала о моей жизни и охотно рассказывала о себе.

Она из Кировской области. Из города Советска. После десятилетки начала работать на каком-то заводе. Долго просилась на фронт. Райком комсомола послал ее на курсы медицинских сестер...

Лина ничуть не изменилась. Только вместо шинели на ней новенький полушубок да чуть-чуть потемнели щеки.

— А ты какой-то другой. — Она вскидывает брови-стрелки. — Как будто постарше стал...

Мы совсем забываем, что рядом Бубнов, Смыслов, Кравчук и все-таки не усидевший в землянке Пацуков. Они напоминают о себе сами.

— Вы к нам надолго? — спрашивает Кравчук.

Всегда самоуверенный, грубоватый в обращении с младшими по званию, старшина произносит эти слова необычным для него вежливым, заискивающим тоном.

— Я и сама не знаю на сколько. — Лина бросает на Кравчука равнодушный взгляд. — Здесь наша рота. Мне надо найти лейтенанта Редина.

Бубнов приглашает ее в блиндаж — отогреться и отдохнуть. Под завистливыми взглядами Кравчука и Смылова мы спускаемся вместе с Линой в землянку. Кравчук шагает за нами. Но лейтенант придерживает его за рукав.

— Тебе, Кравчук, там нечего делать. Разжигай костер. Покормить надо гостью. Назначаю тебя кашеваром...

И слова его заглушаются смехом.

Входим в блиндаж. Лина бросает на нары свой тоненький вещевой мешок, кладет рядом санитарную сумку, мельком осматривает наше жилище и, словно убедившись, что мы одни, подходит ко мне вплотную.

— А ведь я соскучилась. Честное слово!

Она приподнимается на цыпочках и торопливо целует меня в щеку холодными бескровными губами.

Сразу посерьезнев, Лина расстегивает верхние пуговицы полушубка, устало опускается на нары и смотрит в

мою сторону пристально, настороженно. Мне страшно хочется обнять ее, сказать ей что-нибудь ласковое. Но слова не идут. Мысли путаются... Чтобы скрыть волнение, подбрасываю в печурку дрова — мелкие обломки сухих хворостин. Огонь разгорается ярче. Прутья сразу начинают потрескивать, стрелять угольками.

— Хорошо у вас здесь. — Лина протягивает руки к огню, поддвигается поближе к печурке. — А я замерзлась за эти дни. Все время на холоде...

Она вытаскивает из своей санитарной сумки обломок грёбенки и начинает расчесывать волосы.

Только теперь, когда понемногу проходит растерянность, начинаю понимать, как я рад ее видеть снова.

— Ты, наверно, уже привык на передовой, — задумчиво говорит Лина. — А я никак не могу привыкнуть... Помнишь пухленького майора? Который проверял документы?

— Конечно.

— Приезжал к нам в батальон. Разыскал меня. Опять сватал. Ох и противный...

Она смотрит на меня с затаенной улыбкой. И вдруг произносит:

— А хорошо тогда было... Когда мы вдвоем путешествовали. Я часто вспоминаю об этом.

— Я тоже...

— А ты как вспоминаешь? — она запинаясь. — Ну, я хотела спросить: по-хорошему или по-плохому?

— По-моему, у нас не было ничего плохого.

— А ведь могло и быть...

Лина смотрит мне прямо в глаза, а я никак не могу понять, что она имеет в виду... Скорее всего, она напоминает мне о ночевке в лугах, в стогу сена, который стал нам убежищем от назойливого осеннего дождя.

...Мы вместе выдерживали мокрые пучки, добираясь до сухого, непромокнутого слоя. Она до крови наколола палец. И растерялась. Наверное, оттого, что у нее — санин-

структора — не оказалось с собой даже крохотного клочка марли. Мне пришлось разорвать носовой платок — белоснежный, чистый внутри и потертый, потемневший на складках. Когда я обматывал ее палец, Лина заметила красивую вышивку и спросила:

— Дареный?

— Да.

— От девушки?

— Да.

— И не жалко?

— Нет.

— А ты любишь ее?

Я ничего не ответил... Мы вместе залезли в тесную узенькую пещеру, наполненную мятным запахом трав. Забросали ноги охапками сена и легли рядом. Ее полусогнутая рука упиралась мне в грудь. Она, не мигая, долго смотрела на кусочек неба, потом тихо спросила:

— А кто эта девушка? — И мне показалось, что голос ее дрогнул.

— Одноклассница...

Лина повернулась на бок, ко мне лицом. Я сразу почувствовал ее дыхание и лежал в каком-то странном оцепенении, не смея пошевелиться...

В дверь блиндажа стучат — вежливо, как в чужую квартиру. Сквозь щели доносятся голос Смыслова:

— К вам можно?

Юрка приоткрывает скрипучую дверь, бочком протикивается в щель, вытягивает вперед руку с огромным толстым кусищем хлеба, прикрытого сверху круглым ломтем тушенки.

— В честь первого знакомства прошу припять и откусать торт, изготовленный лучшими кулинарами-гвардейцами самоходного артиллерийского полка!

Юрка картинно раскланивается и, довольный тем, что Лина принимает угощение с радостью, бросает от двери:

— На второе будет чай с сахаром. Приятного аппетита!

Глупо ухмыльнувшись и незаметно подмигнув мне, он так же бочком выходит и тщательно прикрывает дверь.

Лина торопливо подносит к губам хлеб с тушенкой. Ест она жадно. Сразу видно — страшно проголодалась, и я мысленно ругаю себя за то, что не догадался первым предложить ей перекусить.

— Ты и друзьями уже обзавелся.

— Это Смыслов. Веселый он. И честный. Я сразу с ним подружился, на второй день. На десятерых не променяю.

— И на меня тоже? — Чувствую в ее словах нотки укора. Она смотрит на меня испытующе, а я не знаю, что ей ответить.

Так же картинно, с поклонами, Юрка приносит чай в большой жестяной кружке с помоями, вдавленными боками. На этот раз он перед уходом вежливо обращается ко мне:

— Товарищ ефрейтор, вам пора отбыть на КП.

Когда он исчезает за дверью, Лина смотрит на меня вопросительно:

— Тебе надо идти? Куда?

— К начальнику разведки. На командный пункт вашего батальона. Он там у телефона сидит.

Объясняю, что мы ходим к капитану Кохову по очереди со Смысловым через каждые четыре часа. Получается по три раза в сутки. По восемь километров за рейс, а всего по двадцать четыре.

Математический расчет поражает Лину.

— Каждый день?! И днем и ночью?!

— Так приказано...

— А я бы ни за что ночью через лес не пошла. Страшно одному ночью?

— Привыкли вроде.

— А когда же вы отдыхаете?

— Когда придется. Днем мы еще за противником наблюдаем. Записываем, сколько машин и фрицев куда проедут или пройдут. Только ночью нас заряжающие подменяют.

На лице Лины искренняя, неподдельная тревога. Она торопливо откусывает мелкие кусочки тушенки и хлеба, а сама смотрит на меня со страхом и жалостью.

Мне хочется побыть с ней подольше. Так бы и смотрел, не отрываясь, как она ест, как, сложив губы в трубочку, дует на чай, как откидывает за ухо непослушную прядку волос... Но мне в самом деле уже пора идти к Кохову. Лина понимает это, начинает еще больше спешить. Она допивает чай, обжигая губы.

Иду проводить ее до окопов. Не хочется расставаться с ней. Но Кохов сейчас, наверное, уже поглядывает на часы: он любит точность.

Выходим из блиндажа. Лина благодарит за угощение сидящего у костра Юрку и всех остальных и обещает обязательно приходить в гости.

— Сестра! — окликает ее Бубнов, когда мы отходим от блиндажа. — У вас не найдется какой-нибудь мази. Смыслову бы язык надо смазать...

«У КАЖДОГО СВОЯ ВЫСОТА...»

— У каждого человека есть своя высота. И он должен ее покорить. Для тебя, Дорохов, высотка 202,5 может стать пиком всей твоей жизни. Ты меня понимаешь?

— Понимаю...

— Ничего ты не понимаешь...

Кохов говорит, то и дело выбрасывая в мою сторону маленькую ладошку, словно взвешивая в ней свои фразы и подчеркивая их весомость. Но здесь, в комфортабельном блиндаже командира саперного батальона, его речи

явно не хватает соответствующего фона — слишком мирная, тепленькая вокруг обстановка. Она совсем не располагает к серьезной беседе.

Капитан сидит на постели в нижней рубашке. Свесив босые ноги, он покачивает ими в такт своей речи, и я невольно задерживаю взгляд на болтающихся подвязках кальсон. Мы в блиндаже одни. Кохов, видимо, пробует завязать разговор по душам. Но беседы не получается. Я по-прежнему только слушаю. А говорит он один:

— Ты, Дорохов, честно скажи — тебе, наверно, надоело ко мне ходить?.. Подумаешь, мол, кому-то какие-то сведения нужны. По-моему, со своей ефрейторской колокольни ты не всегда правильно улавливаешь обстановку. Так вот послушай... Сейчас мы временно заняли оборону. Но какую оборону! Наша высотка у немецкого командования в печенках сидит. А нам приказано стоять пасмерть. Понял? Мы с саперами, может быть, против целой дивизии встали. Против дивизии! И мы с тобой участники этой обороны. Активные участники! Улавливаешь?..

Кажется, Кохов немножко навеселе. Наверное, командир батальона угостил его спиртом. Отсюда у капитана и красноречие, и какая-то странная, необычная жестикаляция.

— В такой момент надо действовать всем заодно. Понимаешь, Дорохов?

— Понимаю...

— Вот и хорошо, что ты понимаешь. Тогда слушай и понимай дальше... Чтобы правильно организовать оборону, надо в первую очередь обеспечить разведку. А у меня — у начальника разведки полка — нет ни одного путевого разведчика.

Он смотрит на меня с ясной, обезоруживающей улыбкой.

— Не обижайся. Вы, радисты, не в счет. Но сейчас и вы делаете большое дело. Вы даже не представляете. Там,

в штабе, что о нас знают? Ничего. — Кохов разводит руками.

— А я по вашим данным два раза в день докладываю полную обстановку. Не будь ваших данных — ни командир полка, ни комбриг, ни командующий корпусом ничего бы не знали о положении на нашем оборонительном рубеже. На важнейшем участке! Ведь под Нерубайкой и Омель-городом я, вы, наша батарея с саперами в авангарде связываем немцев по рукам и ногам. Мы как клизма для них — вклинились им прямо в...

Засмеявшись найденному сравнению, Кохов панибратски хлопает меня по плечу.

— В общем, воткнулись мы между двумя укрепленными пунктами и должны стоять насмерть. Понял?

Капитан нехотя слезает с кровати, надевает брюки, натягивает надраенные до блеска хромовые сапоги-гармошки.

— А ну-ка подойди сюда, Дорохов! — Он приглашает меня к столу, к карте. — Я вижу, до тебя со скрипом доходит. Смотри сюда.

Кохов, как указкой, тычет в карту остро отточенным толстым синим карандашом:

— Вот она, наша высотка. А вот оборона фрицев. Видишь синие зубчики? Это немцы в землю зарылись. А вот эти красные ромбики — батарея Грибана. Тут мы встали и уперлись. Ты спросишь, почему нам подкрепления не дают. Ответу: потому что не надо. Если нам подбросят сегодня танки, фрицы завтра подтянут противотанковую артиллерию. А мы должны их внезапно ударить. Ударим и погоним на запад — сюда!

Кохов делает широкий жест, показывая карандашом в левый угол карты, где, словно паук с выброшенными в стороны лапами, едва уместился в одном квадрате город, узлом вобравший в себя извилистые нити дорог.

— Главный удар будет нанесен с нашей высотки. Запомни, что я сказал. И еще тебе по секрету — мы не

только обороняемся, но и вводим противника в заблуждение. Пусть фрицы отсюда нашего наступления ждут. И отсюда!

Капитан ловко, единым росчерком вырисовывает на карте два яйцевидных эллипса левее и правее нашей высоты. Я смотрю на них и вдруг ощущаю, что зверски голоден. Хорошо бы из десятка таких вот яичек сделать сейчас глазунью. На жареном сале. И чтоб она шипела на сковородке и стреляла горячими обжигающими брызгами. Ну, если не из десятка яиц, то хотя бы из пяти или трех...

Мои размышления прерывает Кохов:

— Ну, выкладывай, что ты сегодня принес?

— На высоте без перемен.

Капитан глядит на меня с изумлением:

— Совсем ничего не переменялось?

— Ничего.

— А на дороге?

— Проскочило несколько автомашин. Туда и обратно.

— Какие машины?

— Грузовики.

— С чем?

— Не видно с чем. Крытые.

— Вот тут-то и надо быть разведчиками. Машины!

А что за машины?! Выдвигайтесь со Смысловым поближе к дороге и наблюдайте. Если машины крытые, значит, с солдатами. Значит, с живой силой. Так?

Я неуверенно пожимаю плечами.

— Так и доложим. Сколько машин?

— Три прошло в Нерубайку. Одна обратно — на Омель-город.

Кохов на минуту задумывается.

— Судя по всему, они подбрасывают подкрепления. Выходит, из Нерубайки они не собираются отходить. Чувствуй, чем пахнет?

Я ничего не чувствую. И капитан, как учитель бестолковому

школьнику, снова начинает вдальблывать мне сложившуюся обстановку.

— Значит, в Нерубайке немцы хотят обосноваться надолго. Вполне возможно, что они решили собрать кулак и ударить по высоте с тыла — со стороны балки. Что тогда?.. Тогда за нами будет следить весь корпус, вся армия. Понял теперь, почему для каждого из нас эта высотка может стать пиком всей жизни? Если выстоим — будут слава и почести! Струсим или просто не выдержим — нас никто не отметит — ни живых, ни погибших.

Капитан надолго умолкает. Он не спеша натягивает гимнастерку, вытаскивает из-под подушки планшетку, достает из нее блокнот, подсаживается к столу и переходит на деловой тон.

— Так и запишем — за два часа прошло четыре машины...

— И несколько мотоциклов.

— Что же ты не сказал сразу?! И как это понимать — несколько? Язык разведчика должен быть точным. А вы на данном этапе не просто связанные, а связанные-разведчики. Сколько мотоциклов?

— Смыслов сказал, три или четыре.

— А может быть, пять?

— Может быть...

Кохов недовольно вскидывает брови и ударяет кулаком по столу:

— Вот дают!.. Вот и повоюй с такими помощничками!.. Давай-ка запишем точно: «На Нерубайку прошло шесть крытых машин с живой силой противника и пять мотоциклов». Четыре грузовика вы видели, а остальные могли прохлопать. Честно, вы ведь больше в землянке сидите, чем на НП? Могли не увидеть, так сказать, пропустить? Ну?..

— Могли. Ночью.

— Это как понимать?!

— Ночью заряжающие паблюдают. А днем я и Смыслов. Мы не пропускаем.

— Ладно, значит, договорились — шесть и пять. Так и будет положено. Что еще?

— Бубнов просил передать, что установку минных полей саперы закончили. Схему пришлют командиру батальона завтра.

— Хорошо. Мне тоже принесешь карту минных полей. Обязательно!.. Что показало наблюдение за противником в районе Омель-города?

— Фрицы по-прежнему ходят между дзотами. Головы видно. Без касок. Уши платками обмотаны.

— Не ходят, а перемещаются. Это называется перемещение пехоты.

Он опять что-то записывает в блокнот.

— На сегодня все?

— Наверное.

— Тогда дуй назад... Наблюдайте внимательнее. Повторяю — от ваших данных зависит многое. По ним командующий может принять то или иное решение. Понятно?

— Так точно!

«Тут и понимать нечего. Все абсолютно ясно. Как говорят, проще пареной репы. Не люблю, когда, отдавая приказание, меня переспрашивают. В самом деле, странная привычка у некоторых офицеров — то и дело спрашивать, поняли их или нет. Если что непонятно, у каждого есть язык, может переспросить. Или такие офицеры не уверены, что излагают свои мысли доходчиво, или же считают нас непонятливыми, недоразвитыми».

— Жду Смыслова. Иди.

— Есть, идти!..

И опять меряю шагами унылое поле. Сгущаются сумерки. В небе появляются первые звезды. Узенькой светлой ленточкой тянется тропинка поперек застывших борозд...

Странный разговор получился у нас с Коховым. Судя по всему, он доволен создавшейся обстановкой. Но зачем ему увеличивать число немецких машин, проехавших в Нерубайку? Чем их больше, тем радостнее у него на душе — так я понял по его тону, по всему разговору.

А насчет высоты, которая есть в жизни каждого человека, он выразился верно и здорово. Но, пожалуй, и тут он что-то недосказал.

Из темноты медленно, угрожающе надвигается громада соломенной скирды. Теперь каждую ночь я обхожу ее стороной — мало ли кто может найти тут пристанище. Скирда наверняка служит ориентиром не только нам, но и немцам. Наверное, только поэтому они до сих пор не запалили ее зажигательными пулями. Я знаю, со стороны Нерубайки подходы к ней не закрыты. Оттуда, от бронетранспортера, сюда прямая дорога — иди полем и не встретишь ни единой души...

Сделав солидный крюк, снова выхожу на свою тропинку. Испытывая необъяснимое облегчение, подхожу к редким низкорослым кустикам — первым предвестникам леса, в котором я чувствую себя уютнее и спокойнее.

На своем пути я знаю здесь каждое деревце, каждый кустик. Сейчас впереди появится большой старый дуб. Вильнув от него в сторону, тропинка углубится в самую гущу деревьев, которые при сильных порывах ветра скрипят своей старой корой, будто стонут. Лохматые щупальца их веток в темноте тянутся прямо к лицу, липнут к полам шинели. Они словно ласкаются.

Через балку я могу пробраться с закрытыми глазами. Но как их закроешь, когда надо в оба смотреть вперед, если не хочешь попасть в засаду.

Мысли опять возвращаются к Кохову. Смутный протест поднимается в моей душе против его поведения. Наверное, он сейчас уже докладывает по телефону обо всем «увиденном собственными глазами» — о том, как движутся по дороге на Нерубайку машины с живой силой про-

тивника, как перемещается вражеская пехота, как стягиваются в Нерубайку и Омель-город немецкие автоматчики.

С Коховым я познакомился сразу после прибытия в полк, на ночном дежурстве. Наши обязанности оказались тогда почти одинаковыми. Мы должны были бодрствовать, когда все спали: его назначили дежурным по штабу, меня — посыльным.

Ночью Кохов расстелил на столе карту, достал небольшой прозрачный кружок, испещренный цифрами, делениями, дырками, положил рядом целлулоидную липейку, коробку карандашей и начал сосредоточенно выводить кружочки, ромбики, стрелы.

Он долго трудился, не разгибая спины и ни разу не посмотрев в мою сторону. Наконец, отбросив карандаши и отступив от стола, капитан полюбовался разукрашенной, словно картина, картой и с удовлетворением произнес:

— Запомни, ефрейтор, кроме Петрова и Кохова, в полку никто не способен нанести обстановку вот так!

Он изучающе посмотрел на меня и спросил:

— Ты в этом что-нибудь разумеешь?

— Нет, товарищ капитан.

— Как же ты попал в артиллеристы?

— Я радист... Во взводе управления.

— А-а...

Кохов прошелся по комнате и, возвратившись к столу, снова повернулся ко мне:

— Ты не думай, что стрелять из пушки проще, чем из ружья. Ты знаешь хотя бы, что такое СУ?

— Нет...

— СУ — это самоходные установки, — капитан весело смеялся. — А что такое Ку?

Я молча пожал плечами.

— Ничего ты не знаешь. А ну иди сюда. Вот смотри: Д — это дальность стрельбы. Ц_т — цель топографиче-

ская. Треугольником и буквой Д обозначаются поправки дальности... — И он начал объяснять мне порядок подготовки к стрельбе по закрытым целям.

Тогда я впервые «уразумел», что артиллерия — это целая наука. Чтобы подавить цель, оказывается, надо сначала определить по карте ее дальность, потом поправки дальности, потом сделать расчет поправок на температуру и ветер. А еще надо определить высоту цели, а еще найти этот самый K_y — коэффициент удаления, а еще шаг угломера $Ш_y$ и что-то еще и еще...

Свою популярную лекцию Кохов оборвал неожиданным вопросом:

— Скажи, ефрейтор, а смогу я стать генералом артиллерии?

— Каждый может, товарищ капитан.

— И ты можешь?! — Кохов остановился напротив меня. Смерил всего взглядом. Его темные и без того маленькие глаза насмешливо сузились, спрятались за веками.

Тогда капитан показался мне умным боевым офицером. Но вот здесь, на передовой, появилась в его характере и поведении какая-то червоточинка, что ли. От опасности он становится совсем другим. Даже пот выступает на лбу. В первую ночь на высоте, когда по радио он просил командира полка отвести батарею в безопасное место, говорил он совсем по-иному, не так самоуверенно, как сейчас, и взгляд его был иной — испуганный, чего-то ищущий. И вообще — хочет стать генералом, а отсиживается в тепленьком блиндаже — мороза боится, что ли...

НЕЖДАННЫЙ ХОЗЯИН

В поведении Смыслова появилась какая-то странность. Юрка — самый разговорчивый, общительный, компанейский парень в полку — вдруг начал уединяться. Он украд-

кой что-то читает, подолгу раздумывает над какими-то потрепанными листочками. Все чаще я вижу его притихшим, рассеянным.

Вот и сейчас он опять отодвигается в самый уголок землянки, лезет в карман, шелестит бумажками... Рядом со мной сладко похрапывает и причмокивает во сне губами Вася Зуйков, которого Кохов снова откомандировал сюда на высотку. Упершись ему коленом в живот, спит Кравчук. Юрка, наверное, думает, что я тоже заснул. Он расправляет один из листочков в ладонях, заглядывает в него, закрывает глаза и начинает беззвучно шевелить губами.

«Неужели он молится?!» Приподнимаю голову:

— Что ты делаешь?

Юрка вздрагивает, но бумажку не прячет, она остается у него на коленях.

— А тебе что? Спи... Во сне полезные витамины есть, — ворчит он негромко, вполголоса, чтобы не разбудить Зуйкова и Кравчука.

— Нет, Юра, ты сначала ответь...

— Оказывается, ты любопытный. Ну, стишки разучиваю. Что дальше?

— Какие стишки?

— Военные. Фронтовые.

— Зачем?

Юрка вскидывает голову, смотрит с удивлением:

— А с чем я выступать буду, когда выйдем на отдых?

— Где выступать?

— Как где?! В самодеятельности. Где же еще.

Вон, оказывается, в чем дело. Мне становится стыдно за мои подозрения. Я и забыл, что Юрка великий оптимист. Еще неизвестно, чем кончится наша «оборонительная кампания», а его мысли уже в будущем.

— Ты что-нибудь понимаешь в поэзии? — неожиданно спрашивает Смыслов.

Что я понимаю в поэзии?..

Наверное, понимаю не меньше его: я ушел в армию из десятого класса, а он из девятого. Я всегда добросовестно учил наизусть стихи, которые задавали на уроках литературы. Но в памяти почему-то остались немногие. Могу перечесть их по пальцам: «На смерть поэта», «Узник», «Белеет парус», «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна...». Пожалуй, и все. Если расшевелить воображение, может быть, припомню отрывок из «Евгения Онегина» — «Мой дядя самых честных правил...». Зато, убей, ничего не вспомню из Маяковского...

Обо всем этом я сбивчиво говорю Юрке. Он слушает меня внимательно, с интересом.

— А фронтовые стихи знаешь какие-нибудь?

Что я могу ответить, если совсем не читал фронтовых стихов, потому что я без году неделя на фронте.

— Ладно, я тебе дам почитать. А сейчас на, проверь — все я правильно выучил или нет. — И он протягивает мне помятый листок, на котором его собственными каракулями написано стихотворение. — Ты следи, а я декламировать буду. Только не подсказывай сразу. — Смыслов задумывается, с опаской оглядывается на спящего Кравчука и начинает вполголоса:

Нас пять бойцов в землянке тесной,
Живем на кромке огневой.
К печурке крохотной железной
Нас гонит ночью ветер злой.
Свели нас разные дороги
Под неотесанный накат.
За дверью пушка,
Парень строгий
На взводе держит автомат.
А я готовлю чай в жестянке,
Наводчик черствый хлеб жует.
У печки мокрые портянки
Дымятся влагой всех болот.
Конечно, жить так скучновато,

Ведь нам всего по двадцать лет...
Идет война,
А мы — солдаты,
И потому претензий нет.

...Юрка уже молчит, а я все смотрю на подпись: «Ст. лейтенант В. Савицкий...» Странно, кажется, я давно так не волновался... Нас тоже пятеро в этой тесной землянке. И дороги нас свели разные. И накат над нами из неотесанных бревен. И пушки стоят за дверью. И часовой с автоматом. И портянки мы сушим так же, как тут написано. Только в одном-единственном месте сказано не совсем верно: из пятерых нам троем еще нет двадцати...

— Ты запомнил все правильно. Всё-всё, — торопливо говорю Юрке, а сам снова перечитываю стихотворение:

...Идет война,
А мы — солдаты,
И потому претензий нет.

— Вот видишь, один стишок про запас я выучил. На первый раз хватит, — радостно говорит Юрка. — На, читай, если хочешь. Просвещайся...

Он протягивает мне целую пачку бумажек, а сам ложится навзничь, закашливается, потом долго беспокойно возится, устраивается поудобнее.

Перебираю листочки, вырванные из тетрадки в косую линейку. Они сложены перьяшливо, как попало, на уголках протерты до дыр. Видимо, во многих руках успели побывать.

Перечитываю рваные пляшущие строчки о разведчиках, вернувшихся из поиска и пьющих родниковую воду, о стрелковом взводе, попавшем под минометный обстрел, о первом бое молодого солдата.

А я лежу в пыли,
И все осколки мимо.
Мгновения мои
Отсчитывает мина...

Странные мысли вызывают у меня эти фронтовые стихи: думаю о том, каким далеким вдруг становится мне пушкинский дядя. А что, если бы можно было посадить его вот сейчас в окопы к саперам. Сколько часов понадобилось бы, чтобы он занемог окончательно и бесповоротно? Вряд ли он в такой обстановке сумел бы заставить себя уважать...

Мои размышления прерывает треск до отказа распахнувшейся двери. В блиндаж не входит, а буквально врывается незнакомый человек. Прямоугольная в плечах широченная плащ-накидка придает ему вид атлета-богатыря.

Он останавливается у порога и бросает слова в темноту, словно камни:

— Кто здесь?

— Свои, самоходчики, — откликается Юрка.

— Это моя землянка.

В его грубоватом, простуженном голосе злые нотки. С хрустом раздвинув смерзшуюся накидку, незваный хозяин бросает ее прямо на спящего Зуикова.

— Освободите блиндаж!

Огонек печурки освещает побуревшую от глины шпатель, темные, смятые в гармошку погоны с самодельными жестяными лейтенантскими звездочками, круглое широкоскулое лицо.

— Я не люблю повторять приказания, — лейтенант решительно шагает к огню. — Кто здесь старший?

— Если старший сержант, то я, — невпопад отвечает Юрка и, спохватившись, оправдывается:

— Мы здесь уже три ночи ночуем. Вот и огонь поддерживаем. Все время топим. Мы не мешаем вам. Места хватит.

— Кто ваш командир?

— Лейтенант Бубнов. Он вместе с вами ночью в окопах был. Он наш комвзвода.

— Знаю Бубнова. Познакомился, — немного смягчается лейтенант. — Он не отсиживается по землянкам.

— Вы еще плохо знаете его, — радостно подхватывает Юрка. — Такого взводного поискать! А мы вас тоже знаем. Вы командир роты саперов гвардии лейтенант Редин. Я вместе с Бубновым был у вас. Когда отбивали ночные атаки. Помните?..

Командир роты молчит, и Юрка окончательно смеется.

— Товарищ лейтенант, мы же связные от батареи с командным пунктом вашего батальона. Днем и ночью к вашему майору ходим. На вас работаем, а вы на мороз нас хотите выгнать.

— На готовенькое хорошо приходите. А мы в окопах звезды считаем. Ребята вторую неделю тепла не видят. — Лейтенант устало и хмуро смотрит на Юрку. Он опускается на нары напротив печурки, и теперь его лицо освещается ярче.

Ротный совсем молодой. Заметно, что он не брился давным-давно, а усы так и не выросли. Только длинные отдельные волосинки венчиком торчат вокруг крупной родинки над верхней губой. У лейтенанта низкий широкий лоб, острые, упрямые скулы. На середине подбородка крохотная круглая ямочка — можно подумать, что она осталась от удара дробинок.

Понемногу отогреваясь, кажется, он оттаивает и внутренне.

— Ладно, — произносит Редин после затянувшейся паузы. — Освободите мне место. Если уместимся — оставайтесь.

Юрка отодвигает свой вещевой мешок к стенке и, удовлетворенный исходом словесного поединка, миролюбиво ворчит:

— Здесь еще пятерым места хватит. Ты, Сашка, придвигайся ближе ко мне. На моем мешке будем спать, а твой лейтенанту под голову отдадим... Ложитесь, товарищ лейтенант. Пожалуйста...

Командир роты молчит. Подавшись вперед, к огню,

он сидит неподвижно, словно в оцепенении. Мы с Юркой перестилаем шинель. Отодвигаемся подальше от безмятежно храпящего Зуйкова. Места, конечно, хватит: мы спали здесь всемером. Я заглядываю в лицо лейтенанта. Он уперся руками в колени. Голова опустилась на грудь. Глаза закрыты: «Спит?!»

— Товарищ лейтенант. — Я трогаю его за плечо, и он вздрагивает всем телом, оборачивается, смотрит незрячим, ничего не понимающим взглядом.

— Ложитесь. Вот здесь... Сюда.

Страдальчески поморщившись, Редип рывком расстегивает пуговицы шинели, отбрасывает в сторону ремень, не раздеваясь, забирается с ногами на нары, судорожно подтягивает под голову вещмешок. Он засыпает мгновенно, не в силах устроиться поудобнее, и во сне то и дело вздрагивает.

— Намайлся, бедняга, — говорит Юрка. — Туго им приходится без крыши над головой. Ночью ползают — мины ставят. А днем с морозом в захолоноушки играют. И поспать некогда. Ладно, давай на боковую.

Вытягиваемся на нарах. Против обыкновения Юрка ничего не вспоминает, ничего не рассказывает «на соп грядущий». Он затихает быстро, а я никак не могу уснуть.

Думаю о Лине. Как она там, в окопах? Почему не пришла сюда с лейтенантом вместе? Солдаты вытерпят холод, переживут слякоть, а ей не под силу такое. Я отдал ей свои варежки. У Левица нашлась лишняя плащ-палатка. Но тоненький брезент не согреет, особенно ноги. Мне уже доводилось спать под открытым небом, и я знаю, что застывают в первую очередь ноги.

Командир роты снова вздрагивает и вскрикивает во сне. Его острые колени больно упираются мне в ребра. Но пока терпимо. Я бы вытерпел что угодно, если бы только от этого полегчало Лине. Но как ей помочь?

Вчера мы снова остались в землянке наедине. Долго

сидели на голых парах, смотрели, как догорают дрова в печурке.

— А я сегодня немца убила, — неожиданно произнесла она спокойным, чуть ли не равнодушным тоном.

— Как?!

— Когда отбивали атаку. Все стреляли. Я тоже. Метров на двести их подпустили. Выбрала самого приметного. Долговязого. Только в него и целилась. С третьего выстрела он упал. До сих пор там валяется... Потом я даже поплакала...

Она помолчала и опять заговорила первая:

— Как-то чудно получается, Саша... Сначала я боялась тебя. Когда встретились... А сейчас, как только приду к саперам, сразу обратно тянет — сюда. Не потому, что опасно там. К тебе...

Она обхватила колени и, забравшись с ногами на нары, не мигая, смотрела в одну точку, в печурку, на угли, подернутые пепельной паутиной. Мне показалось, она чего-то ждет...

Утром первым просыпается Редин. Стачив с нас пинель, он бесцеремонно расталкивает меня и Юрку.

— Поесть что-нибудь найдется?

Вытаскиваю из мешка банку тушенки.

— Ого! Вы шикарно живете. — Лейтенант радостно улыбается, подбрасывая увесистую банку на своей широкой ладони. В другой руке у него появляется широкий немецкий штык с темной пластмассовой рукояткой.

— Давайте подсаживайтесь...

Будим заспавшегося Зуйкова — хлеб у него в мешке — и садимся завтракать вчетвером. Видно, что Редин чертовски голоден. Но ест он без аппетита. Долго, старательно прожевывает хлеб, сдабривая его крохотными кусочками холодной вязкой тушенки.

— Буду присылать к вам ребят. Пусть отогреваются

по очереди, — говорит он, вытирая штык и засовывая его обратно в сапог. Вы тут подтопите пожарче. Дров заготовьте. Сегодня же ребята придут, как стемнеет.

После сна лейтенант заметно повеселел. Теперь взгляду у него цепкий. Он рассматривает нас пристально, словно оценивая.

— А вы пообносились не меньше моих ребят. Почему начальство о вас не заботится? — спрашивает Редин, тяжело поднимаясь с нар.

— Позабыты мы, позаброшены на заре юных лет, — вздыхает Юрка, смачно дожевывая тушенку. — Ладно, хоть харчей в достатке. А то ложись в ваш окоп и помирай. Вы нам приготовьте на всякий случай местечко, товарищ лейтенант. Ладно?

— Это можно. Потеснимся, — отвечает Редин, не улыбувшись, делая вид, что не понимает Юркиных шуток.

— Товарищ лейтенант, а почему вас, саперов, в оборону поставили, а не пехоту, царицу полей? — спрашивает Юрка.

— Не умеет царица мины ставить. Особенно противотанковые. — Лейтенант запахивает шинель, застегивается на все пуговицы. — А здесь, как вы сами убедились, танкоопасное направление.

Он уходит так же стремительно, как и пришел, резко хлопнув тяжелой скрипучей дверью. Юрка отправляется на НП — его черед наблюдать за дорогой. Зуйков снова залезает на нары, вытягивается, переворачивается с боку на бок, накрывается с головой шинелью, крихтит, устраиваясь поудобнее. Его хлебом не корми, только дай поспать. Если его не будить, он может проваляться без еды и воды двое суток подряд.

А мне страшно не хочется идти к Кохову. Лучше бы я ушел вместе с Рединым... К Лине.

Нелегко ей там. Ротный, крепкий парень, и тот доходит. Не выдержал холода и бессонных ночей. А она слабая девушка. Против нее не только мороз и опас-

пость. Каково ей одной среди солдат, мужчин? Неужели Редип этого не понимает? Ведь совсем не обязательно сап-инструктору все время быть в траншее, под пулями. Лина могла находиться в ротной землянке, а когда надо, являлась бы на передовую... А я не имею прав, бессилен защитить, уберечь ее...

В ЛЕСУ

Нашему лесу тесно в узенькой балке. Зажатый ее склонами, он стоит в тихой задумчивости и, кажется, напряженно думает, думает об одном — как ему вырваться из неуютной сырой низины на просторы полей.

Деревья, словно солдаты, уже давно ведут наступление на высотку. Некоторые из них, выбравшись из гущи собратьев, стоят на пашне, намертво вцепившись корнями в отвоеванные кусочки плацдарма. Захватив «место под солнцем», они жадно наслаждаются обретенной свободой. А рядом с ними тянутся из-под земли молодые побеги. Они взбираются все дальше, еще выше по склону, продолжая наступление, начатое деревьями-ветеранами.

Осень прошла по лесу, оставив за собой поседевшие плети кустов. Она добела вымыла холодными дождями стволы березок, у подножия которых тут и там чернеет развороченная снарядами земля. В вырванных с мясом и вывороченных наизнанку пластах чернозема теплится жизнь. Днем, когда появляется солнце, от этих свежих клочков взрыхленной земли медленно поднимаются едва заметные, дрожащие потоки теплого воздуха.

Осень давно отступила на юг. А зима все еще опасается войти в лес полновластной хозяйкой. Как будто боится огненных шквалов, которые то и дело врываются в гущу деревьев. Пугливая и робкая нынче зима. Всего несколько ночей побывал в лесу ее разведчик — мороз. И вновь отступил. Только однажды пахнула она снегом

и сразу сникла, затаившись где-то далеко за высотой. Наверное, ей уютнее в той дальней дымчато-синей роще, что раскинулась слева от нас у самого горизонта: там тихо, там нет стрельбы, канонады, смерти.

Сейчас тучи снова обложили все небо. Они закрыли луну и звезды. Деревья сразу сомкнули ветки, переплелись, прижались ближе друг к другу. Но теперь я могу пройти на высоту почти вслепую.

Осторожно пащупываю тропишку. Откуда-то слева доносятся пулеметные очереди. Багровые нити трассирующих игл то и дело вспыхивают в неподвижном воздухе. Стрельба длится одну-две минуты. И опять щемящая тишина накрывает и высоту, и балку, и это бесконечное поле, которое я только что пересек в какой уже раз.

Через сотню метров будут кусты орешника. И все-таки они вырастают на пути неожиданно — высокой, темной стеной. Взвожу автомат. Тут опасно: балка огибает высоту дугой, и правый конец ее с густо заросшими склонами уходит за передовую, к врагу.

В кустах останавливаюсь. Долго прислушиваюсь к шепоту леса. Сухой однотонный шорох голых ветвей не нарушается никакими посторонними звуками. Надо бы идти дальше. Но ноги перестают слушаться. Подминаю под себя первый попавшийся куст и сажусь.

Вчера вечером мы сидели на этом месте с Линой. Здесь рядом три раздробленных снарядами дерева — два дубка и березка. У березки взрывом срезало пижные ветви, а оставшиеся переломало, выкрутило, завернуло на одну сторону.

Лина заметила раненые деревца, и настроение у нее испортилось.

— У нас дома в палисаднике такая же березка растет, — сказала она невесело. И мы начали вспоминать дом и родных. Оказывается, у Лины давно нет отца. Он умер, когда ей было пять лет. А мать у нее тоже учительница, как у меня, только преподает не в начальных, а в старших

классах. Матери она доверяет все тайны. Только один раз обманула — когда украдкой подала заявление с просьбой отправить на фронт.

— Стой, кто идет?! — Окрик, ножом полоснувший воздух, раздается справа внизу, за кустами.

— Свои, — отвечает глухой простуженный бас.

— Кто свои?

— А вы кто?

— Стрелять буду! Ни с места!

— Не дури. К саперам идем. А вы кто такие, чтоб перед вами ответ держать?

Молчание. Щелчок затвора. И тут же решительное и угрожающее:

— Говорите, куда идете!

— К своим, тебе говорят! К саперам! Они тут рядом где-то.

Слышно, как взводят автоматы сразу несколько человек.

— А сам кто такой? А ну отвечай!

Длинная пауза. И опять голос справа:

— Вы не от Вершинина?

Из-за кустов доносятся приглушенные голоса:

— А вроде это Маматов...

И громче:

— Это не ты, Маматов?

— Вот идиоты, — слышится в ответ. И уже нотки радости звучат в суровом голосе постового. — Так бы сразу и говорили!

Слышу сдержанный смех:

— Здорово, Мамá! Ты чего тут в овраге делаешь?

— В охранение поставили. Вчера фрица пристрелили. К нам подбирался. А вы чего несете?

— Харчи вам тащим. Да мины в придачу. Что на высоте слышно? Не лезут больше?

— Потихо стало.

— Давай показывай, куда топать...

Голоса удаляются. Затихает шорох и треск кустов. Снова становится тихо.

А мне топтать еще около километра. По скользкому склону, мимо фальшивых деревянных пушек — бутафории, предназначенной для самолета-рамы, чтобы ввести его в заблуждение.

Снова хрустят под ногами сухие кусты. Ветки цепляются на шинель, царапают руки... Перехожу на медленный шаг: чем тише идешь, тем охотнее уступают дорогу кусты и деревья.

Кажется, я окончательно раскис от усталости. Ноги гудят, перестают слушаться. Кружится голова... Побывать бы в этом лесу весной или летом. Когда не будет вокруг ни взрывов, ни выстрелов, ни окриков постового. Побродить бы здесь просто так, от нечего делать. После грозового дождя... И чтоб пахло вокруг не вонючей тротиловой гарью, а свежим бодрящим озоном.

До блиндажа добираюсь разбитым и обессиленным. Часовой не окликает. Ждет, когда подойду вплотную. Значит, узнал издали. Кто сейчас на посту? Кажется, это Егоров. Ночью он стоит часовым и одновременно ведет наблюдение за противником. Утром мы берем у него данные, приплюсовываем к своим и передаем Кохову. Кохов — начальнику штаба. А капитан Петров докладывает командиру полка.

Все это похоже на пожарную лестницу: Егорка — мы — Кохов и так далее все выше и выше. А вот «пожарники» мы одни. Это мы добываем самые свежие, самые горячие данные о противнике, которые требуются Кохову в пожарном порядке. Ему неважно, что нам приходится частенько играть с огнем. Изволь докладывать ему каждые четыре часа. И точка!

— Сась, организуй покурить, — просит Егоров, когда я подхожу к блиндажу.

— Я же не курю.

— Знаю. Стрельни у кого-нибудь.

А у кого я стрельну, если все спят вповалку? Выдергиваю кончиком ножа готовый погаснуть фитиль. По подопшам ботинок, торчащим с нар, отыскиваю Смыслова, чтобы прикурнуть с ним рядом.

— Юра, подвинься.

Смыслов молча переворачивается на спину, поднимает голову, бессмысленно таращит на свет заспанные глаза.

— Ты чего?

— Ничего. Вернулся от Кохова.

— А-а! — Он отодвигается, освобождая мне место, и вдруг начинает говорить зло и отрывисто:

— Нечего к нему ходить ночью! Не пойду больше. И ты не ходи. Не ходи.

И в самом деле — зачем так часто гоняет нас Кохов? Ведь если что и случится ночью, Грибан без него примет меры.

«Надо, чтобы я постоянно был в курсе. Я поддерживаю связь со штабом полка и бригады», — объяснил Кохов причину ухода с высоты. По нашим донесениям он составляет сводки и передает их в штаб. Это понятно. Но начальнику разведки, наверное, полезнее быть тут — на высоте, видеть своими глазами, что здесь происходит... Однако, капитан приказал, а наше дело солдатское — выполнять, что приказано.

— Юр, ты спишь?

Смыслов приподнимается на локте. Пламя коптилки освещает его лицо, на котором выделяются воспаленные глаза с распухшими и покрасневшими веками.

— Ты думаешь, Кохов пользу приносит? Черта с два, — говорит он, уставившись на огонь. — Я не первый день его знаю. Мы для него прикрытием стали. В общем, надоело мне эти экскурсии.

Оказывается, мы с Юркой думаем одинаково. Ему тоже все надоело.

«Товарищ капитан, на батарее без перемен», — часто докладываем мы Кохову и ни с чем возвращаемся обрат-

но. Чтобы сказать эту фразу, нам приходится ползать по полю под пулеметным огнем, а в балке опасаться каждого кустика. А собственнo, для чего?

— А как же быть? — спрашиваю я Юрку. — Ведь капитан приказал. Приказ мы должны выполнять.

Смыслов понемногу успокаивается. Но говорит по-прежнему со злостью в голосе:

— Поговорим с Бубновым. Он наш командир взвода. Мы вместе с ним приданы батарее Грибана, а не Кохову. Так командир полка приказал. Я своими ушами слышал. Пусть Бубнов и Грибан найдут нам другое дело. В охранение поставят или в траншею пошлют к саперам — мне все равно. Лишь бы пользы побольше было... В общем, давай поговорим с Бубновым. Он человек. Он поймет. А Кохов...

Юрка машет рукой и поворачивается на бок к степке лицом. Он не договаривает свою мысль. Но я понимаю, что он хотел сказать о Кохове. Юрка, пожалуй, прав...

Мне снится лохматый лес. Я продираюсь через него вперед и вперед, а деревья, широко расставив сильные лапы-ветки, все встают и встают на пути. Они хватают меня за полы шинели и тянут назад — в кусты. Среди них и мой старый знакомый — исковерканный осколками дуб. Вот он, прихрамывая, забегает вперед и, загородив дорогу, наставляет мне в грудь свои обрубки-сучки. И тут же по его команде кряжистый соседний дуб обвивает и намертво стискивает мою ногу хрустящими холодными ветками. Я падаю павзничь и замечаю между деревьями фигуру Кохова.

«Поднимайся! — кричит он каким-то странным сдавленным голосом. — Вставай!» От его крика деревья шарахаются в стороны, и только калека дуб еще крепче хватает меня за шинель, за руки, за ноги и тянет, тянет куда-то вниз. Я пытаюсь сопротивляться и... просыпаюсь.

Меня стаскивают с нар.

— Вставайте! Освободите место!

Передо мной лейтенант Редин.

— Отогреться надо ребятам, заоченели в окопах, — объясняет оп. — Вы пока на полу устроитесь. Утром они уйдут...

На наши места залезают саперы. Один из них не дождался, когда освободится место, прикорнул у порога. Пока нас будили, он заснул как убитый. Я сажусь с ним рядом на землю и мгновенно засыпаю опять.

«ЯЗЫКИ» С НЕБА

В разведку! Мы с Юркой идем в разведку! И в какую — за «языком»!..

В детстве я спал и видел себя разведчиком. На войно это самая опасная, самая благородная и почетная работа, мечта любого солдата, потому что в разведку берут только лучших, самых отчаянных.

Юрка тоже ликует. Он ожил, преобразился, с его лица не сходит радостная улыбка.

Нам еще не растолковали, как и где предстоит брать «языка». Но вопрос о разведке уже решен, и у Юрки рождаются дерзкие и смелые проекты.

— Лучше всего нам взять его на дороге между Омельгородом и Нерубайкой, — говорит он, сгорая от нетерпения высказать свой план. — Как только стемнеет, мы спойненько подползем туда, сядем с разных сторон дороги и будем ждать мотоциклиста. Когда он появится, натянем кабель, вышибем его из седла и прикрутим ему руки одну к другой тем же кабелем. А в рот вставим кляп. Суем ему в зубы полкилограмма пакли, чтобы не мычал, и дело сделано...

— Да, — спохватывается Юрка. — А что, если смочить паклю в солярке? Оп ухватит ее зубами и поперхнется. Тогда и брыкаться не будет...

Его план я одобряю полностью. После, когда все будет

кончепю, могучий Папуков, который пойдет вместе с нами, без особого труда дотащит фрица до батареи. Мы будем прикрывать Папукова, а если все удастся сделать бесшумно, понесем или поведем пленного вместе.

Нам впервые улыбаются возможность по-настоящему отличиться. Идея захвата «языка» принадлежит Бубнову, Редину и Грибану. Об этом они разговорились сегодня в землянке, и Бубнов сразу выдвинул наши кандидатуры.

— Мои ребята справятся. Я уверен в этом, — заявил он Редину, который пытался предложить в разведку своих саперов.

Нам приказано готовиться к операции. Но пройдет ли разработанный Юркой вариант вылазки, пока неизвестно.

— Сначала мы обмозгуем, как лучше сделать. Сегодня к вечеру получите конкретное задание, — сказал нам Грибан и велел заниматься своими делами, но быть начеку.

А дело у нас одно — наблюдать за дорогой. Вслед за Юркой, заступившим на очередное дежурство, вылезаю из пропахшего дымом, прокопченного блиндажа. Ложимся на крышки от ящиков, обсуждаем предстоящую операцию и дышим свежим бодрящим воздухом. Юрка поглядывает в сторону Нерубайки, а я наблюдаю... за облаками.

Над нашей высоткой удивительно спокойное небо. За неделю в нем только раз появились немецкие самолеты. Да и те прошли мимоходом. Вместо них над нами плывут и плывут облака. Чаще барашковые и кучевые. Реже появляются перистые — с краями, будто подкрашенными белой акварелью. Они проплывают над нашими головами с «милого севера в сторону южную», словно торопятся вслед за уплывшей туда же осенью, подальше от холодов. А иногда облака останавливаются. Повисают в прозрачном воздухе, начинают медленно, нехотя расплываться и, слившись в бесформенную рыхлую массу, закрывают все небо гигантским серым шатром.

Я люблю наблюдать за облаками, когда нечего делать. И часто вспоминаю в такие минуты учителя географии

Ивана Васильевича Ганькова. Веселый, остроумный старик, он так живописно умел рассказывать о морях, горах и облаках, что мы забывали на уроках обо всем на свете.

— Облака перистые. Чувствуете, какое звучное у них название? — так начинал Иван Васильевич свой урок. Он делал паузу и, внимательно оглядев класс, продолжал доверительно:

— Однажды пришлось мне побывать на охоте... Летела стая гусей. Высоко-высоко. Настоящий охотник не стреляет в такую даль. Но с нами был молодой мальчишка — вот вроде вас. Он не вытерпел и нажал курок. И представьте себе — попал. Правда, гуси улетели своим маршрутом. Но с неба падало перышко. Оно кувыркалось в воздухе до тех пор, пока не упало нам под ноги. Вот оно, это перышко...

Иван Васильевич не спеша доставал из нагрудного кармана обыкновенное гусиное перо, показывал его нам и сообщал, что перистые облака называли именно из-за их сходства с такими вот белыми перьями...

После такого рассказа невозможно было спутать перистые облака с барашковыми, тем более что «про барашка с кудряшками» у Ивана Васильевича был припасен особый рассказ.

А вот Юрка не знает классификации облаков. Наверное, ему не повезло на учителя географии. И я с удовольствием щеголяю перед ним своими познаниями.

Вспоминаем учителей. Больше всех я любил Тамару Германовну Романову. Наверное, потому, что она сама нас любила. В классе становилось скучно, когда из-за ее болезни не было уроков литературы. Я старался перечитать все книжки, которые она советовала нам — ради нее. И стихи учил наизусть тоже ради нее: мы боялись огорчить ее плохими ответами.

Юрка тоже начинает рассказывать об учителях. Но небо, словно обидевшись, что мы забыли «небесную» те-

му, напоминает о себе гулом моторов. Над лесом появляется звено пикировщиков. Желтобрюхие, с черными пауками на крыльях, они урчат натужно, словно их моторы работают из последних сил. Я уже научился отличать по звуку наши и немецкие самолеты. Наши бомбардировщики гудят спокойнее и ровнее. А эти урчат с подвыванием — то тише, то громче, как будто выбиваются из последних сил.

Вслед за «юнкерсами» из облака выскакивают юркие, быстрые истребители. Наши! Их два. Они стремительно идут на сближение, заходят пикировщикам в хвост. Задний «юнкерс» выбрасывает в их сторону прямые стрелы серых тесемок, которые неподвижно повисают в голубом воздухе. Нити, оставляемые трассирующими пулями, перечеркивают все небо, перекрещиваются. Это ястребки открывают ответный огонь.

Впервые так близко наблюдаю воздушный бой... На днях я читал в армейской газете, как летчик-гвардеец сбил сразу три самолета. В статье описано, как он заходил в хвост противнику, что он думал, как действовал, собрав всю волю. Но читать одно, а на деле все происходит в считанные секунды. Отрывистая пулеметная трескотня. Веер трассирующих пуль. Огненная вспышка на крыле «юнкерса». Неожиданно самолет выбрасывает широкий, разлапистый хвост черного дыма, клюет носом, рывком выравнивается и, завалившись на крыло, срывается в штопор.

— Сбили! — торжествующе кричит Юрка, подбрасывая вверх шапку и приплясывая на скрипящих досках.

От бомбардировщика отделяются две точки. Какое-то мгновение они летят рядом с пылающим самолетом. Но вот над ними вспыхивают светлые зонтики. Парашюты!

Самолет падает на соседнюю высотку, возвестив о своем последнем приземлении раскатистым взрывом.

Следим за парашютистами. Странно, на высоте нет никакого ветра, а там, наверху, оказывается, есть. Потоки воздуха относят летчиков в нашу сторону. Хорошо вид-

но, как они судорожно цепляются за стропы, болтают ногами, чтобы сдержать движение парашютов. Но тщетно. Они опускаются в балку — прямо на острые вершины деревьев.

К нам подбегает Бубнов.

— Все за мной! — командует он и бежит вниз, вынимая на ходу пистолет. Останавливается. Оборачивается к нам:

— Взять автоматы!

Бросаемся с Юркой в блиндаж, хватаем первые попавшиеся под руку ППШ и бежим догонять Бубнова, Кравчука и саперов, пришедших в свою землянку погреться. Настигаем их возле первых деревьев, у кромки леса.

— Осторожно, — предупреждает Бубнов. — Рассредоточиться! Никому не отставать. Пошли!..

Сквозь голые ветви лес отлично просматривается. Бежим, вернее, скользим по обледеневшему склону вниз, в балку. Кланяемся каждому кусту, каждой ветке. То и дело прикрываю лицо руками: чего доброго, напорешься на сучок или куст.

— Вон он!..

Вижу парашют, зацепившийся за верхушку старого дуба.

Сбавляем шаг. Дальше продвигаемся крадучись. Раздвигаю ветки... Парашютист висит вверх ногами у самой земли. Он запутался в стропях. Комбинезон мышиного цвета разорван. Дыра тянется от пояса до плеча — через весь бок, — и из нее выбиваются наружу лоскуты голубой нательной рубашки.

— Хенде хох! — командует Бубнов, наставив пистолет на летчика. Но тот не шевелится. Комбинезон съехал ему на голову. Шлем валяется на земле. Длинные белые волосы растрепались и торчат в разные стороны. Немец раскачивается на стропях, захлестнувших его ноги.

— Он не понял вашу команду — ноги вверх поднял,

а не руки, — отдуваясь, говорит Юрка Бубнову. — Вы, товарищ лейтенант, ему наоборот прикажите, может, он руки поднимет.

Но Бубнову не до шуток.

— Кравчук, останься со мной. Остальным взять второго, — командует он и торопит:

— Быстрее, быстрее, ребята!..

Бежим дальше. Второй где-то рядом: они падали вместе. Ветки больно бьют по лицу, цепляются за рукава. Мы забываем об осторожности и с разбегу натыкаемся на второго летчика. Он стоит под деревом, с которого свисает белое шелковое полотнище. Руки подняты вверх. Скрюченные пальцы дрожат. В глазах какая-то отрешенность. Лопочет:

— Плен, плен, геноссэ... Гитлер капут... — Он что-то быстро-быстро говорит по-немецки, заискивающе заглядывает в лицо саперу.

Солдат срывает с него планшетку, обшаривает карманы. Пистолета нет. Он валяется рядом. Нащупав что-то под комбинезоном, сапер расстегивает молнию, вынимает бумажник, по-хозяйски засовывает его в планшетку.

— Ух и морда. Пришить бы его на месте. Как, ребята? — спрашивает сапер.

— Ты помолчи. Не имеем права, — перебивает его Смыслов. — Отведем на высотку — там видно будет. Давайте парашют снимем. Не пропадать добру.

Втроем тянем вниз зацепившееся за дерево шелковое полотнище. Оно удивительно крепкое. Вцепившиеся в него колючие крупные ветки и большие сучки с треском ломаются, а ему хоть бы что — ни одной дырки.

Сапер пытается навьючить парашют на себя. Но скользкие волнистые складки шелка струятся, сползают с плеча к ногам.

— Что ты выдумал? Пусть сам несет, — говорит Юрка солдату и жестом показывает на парашют летчику,

который все понимает без слов. Немец проворно сматывает стропы, складывает полотнище, ловко, одним движением, взваливает его на плечо.

— Тренированный, гад, — цедит сквозь зубы сапер и подталкивает гитлеровца стволом автомата:

— А ну пошли!..

Поднимаемся вверх к Бубнову и Кравчуку.

Они уже освободили своего пленного от строп, и тот сидит на земле, запрокинув голову, прижавшись затылком к дереву. Его большие глазищи налиты кровью — наверное, от долгого висения вверх ногами. И лицо красное, напряженное. Он с трудом поднимается, осматривает распоротый комбинезон, отряхивается, мрачно косится в нашу сторону. Взгляд у него полон ненависти, презрения, смертной тоски.

Приводим пленных к землянке. К нам со всех сторон сбегаются батарейцы, окружают летчиков плотным кольцом. Удивляются. Разглядывают их во все глаза, отшускают реплики:

— Попались, орлы бесхвостые!

— Как вороны общипанные, притихли...

— Отправить их обратно на небеса!

— А ну, прекратите базар! — строго приказывает Грибан. — Будете болтать, всех отошлю обратно к машинам.

— Обыскивали? — спрашивает он Бубнова.

— У длинного оружие отобрали. А этот сам бросил. Сдался... Документы здесь — в планшетке...

Грибан забирает планшетку, подходит к ящикам для снарядов и вываливает ее содержимое на доски.

Маленькие игральные карты, блокнотик, бумажник, что-то завернутое в засаленный платочек, завязанный аккуратненьким узелком.

Старший лейтенант выворачивает бумажник. Из него выпадают пемецкие деньги, пачка фотокарточек, железный крест на сине-зеленой ленточке.

Я стою рядом и смотрю на снимки, разлетевшиеся по

ящику веером. На них обнаженные женщины. Грибан перебирает фотокарточки. Одну за другой откладывает в сторону. На предпоследней задерживает взгляд, выпрямляется. Долго не отводит от нее глаз.

— Это у которого взяли?

— У рыжего, который пониже, — отвечает сапер, отобравший бумажник у летчика.

Грибан смотрит на пленного тяжелым, недобрым взглядом, опять переводит глаза на карточку, снова — на пленного.

— Вот что они с нашими сестрами и женами делают, — наконец произносит он глухо и расстегивает верхние крючки полушубка, словно ему становится трудно дышать.

— Эту карточку все посмотрите, — говорит он, повысив голос. — И всё запомните...

Он протягивает фотографию нам.

На любительском снимке полураздетая девушка. Голые руки и плечи в шрамах, словно ее били кнутом. Крупный с горбинкой нос. Длинные, растрепанные черные волосы. Густые черные брови. Большие темные, округлившиеся в страхе глаза... Здоровенный улыбающийся ребенок в эсэсовской форме приложил палец к ее подбородку. Он, видимо, пытается приподнять ее голову, чтобы взглянуть девчонке в глаза. А рядом с ним самодовольные улыбающиеся морды. Выродкам весело — развлекаются...

Я не в силах взглянуть на рыжего. Он стоит рядом — рукой достать, а я не смею поднять на него глаза — боюсь, что ударю его прикладом или двину ногой в живот. Именно таким образом мне хочется заступиться за эту девчонку, со страхом закрывающуюся от объектива.

Саперы и батарейцы, рассматривающие фотографию, молчат, потрясенные увиденным на маленьком бесстрастном клочке бумаги. Но пауза длится недолго.

— У меня вот такая дивчина в Коломые осталась, — неожиданно произносит один из саперов.

И сразу как прорывается. Со всех сторон сыплются возгласы:

— Убить их мало!

— Бей их, ребята!..

Крепкий, коренастый сапер замахивается на рыжего прикладом, но его успевают схватить за руку, отталкивают назад. Рыжий невольно приседает, словно у него подгибаются колени, закрывается от удара руками. Глаза его снова полны животного страха.

Мельком смотрю на второго и поражаюсь. Он стоит, сжав топкие губы в усмешке, выпрямившись во весь рост. Кроме ненависти и презрения, больше нет ничего на его белом, словно известковым, окаменевшем лице.

Перед нами вырастает Грибан. Комбат закрывает рыжего своей могучей фигурой:

— Прекратить! — кричит он солдатам, подступившим к пленным вплотную. Обернувшись вполоборота к Бубнову, он бросает жестко и властно:

— В блиндаж их! Немедленно!

Кравчук и Бубнов подталкивают пленных к ступенькам, показывают им дорогу жестами. Рыжий опять понимает без слов. Он проворно бросается вниз, к двери. В узком проходе останавливается, оборачивается, затравленно смотрит назад. Сверху на него надвигается долговая прямая фигура второго фашиста. Этот ничуть не согнулся перед опасностью. Не испугался. Он по-прежнему смотрит прямо перед собой и идет спокойно, заложив руки за спину, а рыжий в страхе пятится от него в дверь.

— Надо допросить их, Петр Семенович. У нас кто-нибудь знает немецкий? — спрашивает в блиндаже Грибан.

Бубнов пожимает плечами:

— По-моему, никто не шпрехает.

— Тогда бери Смыслова и Дорохова и ведите немцев

в штаб бригады. Это оттуда просили взять «языка». Зайдите по пути к Кохову. Пусть порадуете.

— Сейчас вести?

Грибан смотрит на него, словно не зная, что ответить на этот вопрос, наконец произносит:

— А когда же?! Не ставить же их на довольствие. У нас у самих харчей не хватает.

— Хорошо, сейчас и двинемся, — спокойно говорит Бубнов. — Сопровождающие Смыслов и Дорохов.

Мы? А как же разведка?! Юрка будто угадывает мои мысли.

— Товарищ старший лейтенант, мы с Дороховым не поведем фрицев, — обращается он к Грибану. — Вы нам к разведке велели готовиться. За «языком».

Грибан кивает на пленных:

— А это тебе что — не «языки»?

— Ну... Они прилетные. Не местные.

— Тем лучше. И не один, а сразу два. Вы их досрочно поймали. Молодцы. — Комбат слегка повышает голос:

— От лица службы вам благодарность! А разведка отменяется. Можете идти!

Словно забыв о нашем присутствии, старший лейтенант дает Бубнову последние напутствия:

— Особенно берегите рыжего. Он своего фюрера продаст со всеми потрохами и кальсонами. Все расскажет. А этот долговязый, наверное, из эсэсовцев. Матерый. А вообще они многое должны знать о расположении войск. Как-никак летчики. Им сверху лучше все видно. Ну, давайте!..

Выводим пленных из блиндажа. Мы со Смысловым шагаем сзади. Берем автоматы наперевес.

— Знал бы, что так получится, сам бы их обоих прикончил, — цедит Юрка, бледный от злости.

Я его понимаю: до боли обидно, что сорвалась наша разведка. Жди теперь дожидайся другого случая.

Кохов встречает нашу процессию вместе с командиром батальона саперов. Пока мы шли по тропинке оврага, ведущей к их роскошному блиндажу, кто-то опередил нас и успел обо всем доложить. Капитан и майор стоят торжественные и подтянутые, словно приготовились принимать парад.

— Поздравляю, Бубнов! — радостно говорит Кохов, зыркнув глазами на пленных. — Орден тебе обеспечен. Слово даю!

— Это летчики, да? — спрашивает майор.

— Так точно. Из «юнkersа» выпали.

— А ну, покажите, что за птички над нами летают...

Кохов подходит к пленным вплотную и разглядывает их в упор, как музейные экспонаты. Особенно долго смотрит на рыжего. Капитан явно наслаждается его растерянностью.

— Очень кстати попались, голубчики. Как раз ко времени, — цедит он сквозь зубы. — Нам как раз «языки» нужны...

Кохов поворачивается к майору:

— У вас есть переводчик?

— Даже два.

— Давайте одного сюда.

Командир батальона приказывает саперам, разглядывающим пленных, позвать лейтенанта Гильмана и указывает нам на дверь блиндажа:

— Введите их!

В «подземном дворце» все так же светло и тепло. Бубнов с удивлением осматривает капитальные стены из гладко выструганных и тщательно подогнанных досок, аккуратно задрапированные простынями углы, удобные са-модельные кровати, пышущую жаром печку-буржуйку.

— А у вас недурно, — говорит он Кохову. — Курорт!

Капитан пропускает его похвалу мимо ушей. Он поводит глаз с пленных.

— Ты, Смыслов, встань в тот угол, — приказывает он. — А ты, Дорохов, вот сюда. Смотрите в оба. Неизвестно еще, что за птицы и как они себя поведут. А их посадить на эту скамью подсудимых. Хотя нет, пусть лучше стоят у стенки.

Бубнов бросает на стол планшет, изъятый у летчиков.

— Тут все, что мы у них отобрали, — говорит он. — К сожалению, карты не оказалось. Наверное, сгорела с самолетом вместе.

Кохов вытаскивает из планшетки фотокарточки, сразу впивается взглядом в первую, темнеет лицом. Заглядывая через плечо. На меня смотрят со снимка знакомые, полные страха глаза несчастной девчонки.

— Товарищ майор, лейтенант Гильман по вашему приказанию явился!

В дверях вытягивается по стойке «смирно» черноволосый худой офицер. У него нескладная длинная фигура и бледное лицо, на котором резко выделяются смоляные брови. Из-под них пристально и изучающе смотрят большие темные глаза.

— Надо допросить пленных, — небрежно кивает ему командир батальона. — Приступай. Только сразу и вопросы и ответы переводы, чтобы нам все было ясно. Понял?

— Так точно, понял, товарищ майор! — Вытянувшись перед начальством, лейтенант звонко прицелкивает каблуками.

Кохов протягивает майору снимок, быстро просматривает остальные карточки и развязывает узелки носового платка. На стол сыплются пуговицы. Круглые, квадратные, треугольные — большие и крохотные, они переливаются под светом электрической лампочки всеми цветами радуги. Майор и Кохов берут их в руки, подносят к глазам, разглядывают.

— Женские пуговицы! — удивляется командир батальона и поворачивается к переводчику: — Спроси их, что это значит?

— Это у рыжего отобрали. У него спрашивай, — предупреждает Бубнов.

Рыжий заискивающе смотрит в глаза Гильману, внимательно выслушивает его вопрос и отвечает спокойным тоном.

— Он говорит, что это сувениры от женщин, — переводит лейтенант.

— От тех, которых он, — майор запинается, подыскивая нужное слово, — которых принуждал?

Переводчик повторяет вопрос по-немецки. Глаза рыжего удивленно расширяются. Он косится на стоящего рядом летчика, затем, словно опомнившись, вскидывает голову и начинает отрицательно кивать:

— Найн, найн...

— Он говорит, что это подруги дарили. На память..

— А вот эти, которые вырваны с мясом, тоже ему подарили? — Майор рывком сует в лицо рыжему полную горсть пуговиц.

Пленный испуганно смотрит на огромную раскрытую ладонь майора.

— Молчишь? — майор сверлит глазами рыжего. — Всю Европу распяли такие вот! Расстреливать надо их без суда и следствия!

Кохов протягивает Гильману фотокарточки:

— Допроси, что это за женщины, откуда они, кто фотографировал, какое отношение имеет к ним этот хлюст.

Рыжему некуда деть свои узловатые руки. То он переплетает пальцы на животе, то теребит ими серебристые зубчики расстегнутой молнии, то послушно, подчеркивая свою покорность, вытягивает руки по швам. Он всеми силами старается показаться искренним, но ему явно не хватает актерских способностей, с его лица не сходит выражение растерянности.

— Он утверждает, что это его приятельницы, любовницы, — переводит лейтенант очередной ответ.

Это, конечно же, наглая ложь! Я видел карточки. Из всех женщин улыбается только одна. У остальных на лицах испуг или страх. Все они сфотографированы принудительно или врасплох — не позирующими, а стыдящимися своей наготы. Одни пытаются закрыться от объектива руками. Другие смотрят в него безучастно и отрешенно. Почти у всех какой-то затравленный вид.

Гильман показывает рыжему фотокарточки по порядку, как они сложены, и переводит ответы.

— Польша. Из Варшавы...

— Львов. Украина.

— Краков. Польша.

Рыжий умолкает, не может вспомнить одну из женщин. Он смущенно пожимает плечами. Глаза его бегают блудливо, как у пойманного на месте вора.

Лейтенант переворачивает карточку, читает:

— «Харьков, Украина...» Здесь, оказывается, написано, товарищ майор.

Он переворачивает фотографии одну за другой:

— «Прага. Чехословакия».

— Опять Краков.

— Киев.

— Еще Краков.

— «Вена. Австрия...»

— Вот сволочь, — не выдерживает Бубнов.

Рыжий пространно рассказывает, что стрелком-радистом он стал недавно, потому что у Германии не хватает летчиков. А всю войну служил в роте охраны в трудовых лагерях и никогда не был на передовой, не стрелял в русских. И эти снимки сделаны в трудовых лагерях...

— Это по его мнению в «трудовых», а по нашему — в лагерях смерти, — глухо произносит майор.

Все смотрят на рыжего. Его крупная челюсть приходит в движение, начинает мелко-мелко дрожать. Летчик

переводит глаза то на майора, то на переводчика, то на Кохова. И бледнеет от их молчаливых взглядов, не сулящих ничего доброго. Наконец он словно спохватывается и начинает говорить быстро, сбивчиво, проглатывая слова.

— Он говорит, что никогда никого не убивал, — в такт его словам переводит Гильман. — Говорит, что они были его любовницами.

Кохов подает переводчику фотокарточку:

— Спроси, она исполосована тоже добровольно? Кто ее разукрасил?

Глаза пленного надолго останавливаются на фотографии. К моему удивлению, он понемногу успокаивается и отвечает, отвернувшись от переводчика к майору:

— Юде... Юде...

— Это еврейка, — говорит лейтенант дрогнувшим голосом. — Евреи подлежат уничтожению по приказу фюрера. Солдаты обязаны выполнять приказ, потому что они солдаты...

Гильман переводит ответ, глядя на фотографию.

Голос его срывается, он умолкает. Пленный продолжает говорить, что-то объясняет, а лейтенант смотрит на карточку и словно не слышит. Он совсем забывает о переводе.

Мне становится жарко и душно. Чувствую, как напрягается мой палец на спусковом крючке автомата. Всеми моими клеточками и нервами овладевает желание всадить длинную-длинную очередь, весь магазин, в отвислое брюхо или прямо в морду этого насильника, изображающего из себя невинного солдата-исполнителя.

— Хватит! — Кохов рубит ладонью воздух. — Достаточно!

— Нет, не хватит! — в тон Кохову бросает майор. Не поворачиваясь к переводчику, он просит Гильмана:

— Спросите, есть у него семья?

Пленный смотрит на лейтенанта, не понимая, чего от него хотят, переводит взгляд на комбата и, побледнев

от его встречного взгляда, закусывает толстую верхнюю губу.

Да, он «Vater Familie», наконец отвечает немец. У него жена и двое детей. Они живут в Вюртемберге, это на юге Германии.

Майор смотрит на пленного с такой жгучей, лишь огромным усилием воли сдерживаемой ненавистью, что я боюсь — вот сейчас, через мгновение, он ударит наотмашь летчика, а сам схватится за сердце и рухнет на земляной пол: по его щекам большими неровными пятнами растекается меловая белизна, полуоткрытым ртом он жадно хватая воздух, на лбу выступают капли пота.

— Значит, семья у него есть, — задыхаясь, хрипло выдавливает майор. — И жена есть, и детки... Он примерный семьянин... — Неожиданно голос его срывается на крик: — А что они сделали с нашими семьями? Спроси его, где наши жены и дети?

Словно спохватившись, командир батальона круто поворачивается и, сжав виски ладонями, делает несколько шагов в угол блиндажа и обратно. Сопровождаемый нашими взглядами, он с минуту ходит так взад и вперед, ни на кого не обращая внимания.

После длительного молчания Гильман продолжает допрос. Он выясняет, из какой части пленный, спрашивает о расположении войск, о количестве самолетов и о чем-то другом, а я пытаюсь и никак не могу представить этого рыжего насильника рядом с женой и детьми. Наверное, когда он вернется домой — если вернется, — жена бросится ему на шею и будет целовать эту отвислую челюсть.

И конечно, встретить «папу-героя» выбегут ребятишки.

У меня кружится голова... Даже о детях этого выроodka я начинаю думать с ненавистью. А собственно, почему? Дети везде одинаковы. И не их вина, что есть на свете такие отцы...

Второй пленный отказывается отвечать. Он только называет фамилию и звание.

После этого он умолкает, надменно глядя прямо перед собой в стенку. Вопросы переводчика словно не достигают его ушей. Он не обращает на них никакого внимания и произносит еще лишь одну-единственную фразу, от которой Гильман вздрагивает и растерянно оглядывается на комбата.

— Что он сказал?

Лейтенант глядит на майора своими умными глазами и говорит тихим, едва слышным голосом:

— Он заявил, что с евреем разговаривать не будет.

— Как же: представитель «высшей арийской расы»! Героя из себя строит. Глупый, надутый индюк. Он еще не видит, что гитлеровцы проиграли войну. И за все свои преступления будут расплачиваться... Довольно, отправьте их в штаб бригады.

Эти слова командир батальона произносит устало, не глядя на пленных. После допроса летчиков у него растерянный, беспокойный вид. Словно он решает очень важный для себя вопрос — и не может решить.

— Ты, Петр Семенович, возвращайся на высоту, — говорит Кохов Бубнову. — Дорохов со Смысловым одни отведут.

— С вами еще двое моих ребят пойдут. — Комбат отрывает взгляд от стола, хмуро смотрит на нас. — Они лучше знают дорогу.

Выходим из блиндажа. Юрка впереди. За ним пленные. Сзади я и саперы.

На ходу застегивая полушубок, поднимается командир батальона. Сосредоточенно глядя под ноги, он то и дело поправляет на поясе съезжающую вперед кобуру с пистолетом. Майор все такой же хмурый, злой. Он идет задумавшись, низко опустив голову, с усилием переставляя по обледелым ступенькам свои огромные кирзовые сапожищи. Как-то особенно яростно, как личных кровных врагов, ненавидит он пленных летчиков. И несмотря на все старания, не может, не умеет скрыть своих чувств.

Но в грубоватой прямоте его есть подкупающая искренность, которая вызывает к нему симпатию. Верить, что есть у него какая-то важная причина так ненавидеть всех гитлеровцев.

— Идите, — машет рукой майор.

И наша колонна трогается, словно только и дожидалась этого мгновения. Сначала идем оврагом, затем поднимаемся по тропинке вверх. Навстречу стеной встает высокий сосновый бор. Толстые смолистые стволы деревьев отливают золотистым блеском. Неожиданно открывается прямая, как стрела, просека, похожая на длинный бесконечный тоннель без верхнего свода.

А у меня что-то неладное с головой. Верхушки сосен начинают кружиться. Они ввинчиваются в небо. Стараюсь вверх не смотреть. Оглядываюсь назад: майор!.. Он сосредоточенно глядит себе под ноги — на наши следы. Зачем он идет?.. Остановился, вынул из кобуры ТТ, осмотрел его, сунул в карман.

— Юра!..

Смыслов понимает меня с полуслова.

— А ну быстрее, быстрее, — поторапливает он долговязого. Но комбат прибавляет шаг, обгоняет меня, на ходу вытаскивает пистолет из кармана...

Я не знаю, что делать. Я не могу приказать ему. И не имею права его послушаться.

— Стой! — командует майор.

Саперы и пленные останавливаются, но Юрка преграждает майору дорогу.

— Уйди прочь! — глухо произносит командир батальона и сталкивает с тропинки Смыслова.

— Нельзя, товарищ майор!

Это последнее, что я слышу. Золотистые сосны крепятся. Длинный лесной тоннель переворачивается набок. Переворачиваются и майор, и Юрка, и долговязый пленный. Земля становится ватной, рыхлой. Я словно проваливаюсь в бездонную яму...

Очнувшись, не могу сразу вспомнить, что произошло. Где-то рядом стучат по наковальне звонкие молоточки. Нет, это стучит в висках.

— Оживел, — произносит незнакомый надтреснутый голос. — Сколько ему годков-то?

— Сколько бы ни было. Тебе что за дело?

И опять так же скрипуче:

— В обморок свалился! Как Маша Дубровская.

«Кретин. У Маши фамилия Троекурова...»

— А ну отойди, говорю!..

Второй голос возбужденный, злой... Юркин голос...

Он наклоняется надо мной. Прикладывает к моему лбу горсть снега... Все тише стучат молоточки. Различаю лица саперов. Долговязый пленный стоит в сторонке... Все такой же надменный иронический взгляд. В ногах у него сидит рыжий с белым как снег лицом. Майора уже нет.

Сажусь на толстый жилистый корень, выпирающий из-под дерева.

— Ну как? — участливо спрашивает Юрка.

— Вроде ничего... Лучше...

— Это потому, что не спал три ночи, — говорит Смыслов. — Посиди, отдохни. Мы пленного перевяжем.

Рыжий сидит, зажав левую руку чуть выше локтя, косится на нас исподлобья, ждет, что будет дальше.

— Показывай руку, гад, — обращается к нему Юрка, и тот сразу, будто отлично знает русский язык, начинает стаскивать комбинезон.

Пуля прошла через мякоть предплечья. Ничего страшного нет. Но крови много. Рана и сейчас продолжает кровоточить.

— Бинт есть у кого-нибудь? — спрашивает Смыслов.

Обшариваем карманы. Ни у кого из четверых нет индивидуального пакета, хотя мы обязаны их иметь.

— Они всю семью нашего комбата сожгли, а мы их перевязывать должны, — недовольно ворчит один из саперов. — В деревне, где его жена и двое сынишек жили,

кто-то немецкого офицера прирезал. Так за него всех жителей в клубе сожгли. Живыми. После освобождения товарищ майор ездил туда.

— Так-то оно так, — задумчиво произносит второй сапер. Он выворачивает карман шинели и, убедившись, что в нем пусто, неожиданно предлагает:

— У меня портянки новые. Вчера выдали. Оторву фрицу на перевязку. А то еще сдохнет, а нам отвечать.

— Давай.

Солдат садится на снег, снимает сапог. Портянка и в самом деле новенькая, чистая. Только сильно помята да в середине виднеется серый отпечаток стопы.

Солдат вытаскивает перочинный ножик, делает на портянке надрез, захватывает края пальцами, собираясь оторвать ленту.

— Пожалуй, мало будет для паразита. Пошире надо.

Он снова чиркает ножиком, на этот раз подальше от края, и отрывает от портянки широкую полосу.

Смотрю, как сапер обматывает руку пленного самодельным бинтом. Мне несколько его не жаль, даже раненого, окровавленного. И Юрке, наверное, тоже не жалко. И саперам. Теперь мне понятно, почему так люто их ненавидит майор. Еще сильнее, чем мы. Бедный майор!

А рыжий морщится, кривит свою скуластую рожу, заискивающе заглядывает солдату в глаза, что-то бормочет ему по-немецки.

Если бы он мне попался в бою, я, не дрогнув, прикончил бы его. А вот сейчас не могу, не имею права поставить его к сосне и пристрелить как собаку. Сейчас он безоружный, пленный, а пленных расстреливать не положено.

КОММУНИСТЫ

Лина врывается в блиндаж вместе с ватным облаком холодного воздуха. Позабыв прикрыть дверь, она устало

приваливается к угловому бревну, как-то странно, отрешенно глядит на пляшущий огонек лампы-гильзы.

В последние дни ее не узнать. От высокой аккуратной прически ничего не осталось. Волосы разлохматились, свисают сосульками, торчат в разные стороны. Щеки на обмороженных местах покрылись синеватыми пятнами.

— Ребята, помогите внести лейтенанта, — неожиданно произносит она умоляющим тоном.

Один за другим выскакиваем из блиндажа. Рядом с верхней ступенькой, разбросав руки в стороны, лежит на плащ-палатке командир роты саперов. Перед ним на коленях незнакомый пожилой солдат в зашарпанной шинели с оторванным, болтающимся на одной пуговице хлястиком. Он что-то говорит Редину, а тот смотрит на него ничего не видящими, словно остекленевшими глазами.

— Ранило нашего товарища лейтенанта, — виновато произносит солдат. — Оврагом хотели немцы нас обойти. Товарищ лейтенант пулеметом отсек им дорогу. Ну, они весь огонь на него... И все... Меня не задело, а его вот...

Вчетвером беремся за края плащ-палатки. Приподнимаем раненого. Он тихо, протяжно стонет. Стараясь не оступиться, не поскользнуться на обледеневших ступеньках, осторожно спускаемся вниз. Лина стоит у распахнутой двери. Ждет, когда мы сойдем, с каждым шагом предупреждает:

— Ровнее... Осторожнее... Тише...

Кладем лейтенанта на чью-то телогрейку. Он опять начинает стонать.

— Помогите с него шинель снять. Только осторожнее, — просит Лина, уже сбросившая с себя полушубок и приготовившая бинты.

Руки лейтенанта, полусогнутые в локтях, не разгибаются. С трудом снимаем шинель. Над левым карманом темно-зеленой шерстяной гимнастерки рядом с орденом Красного Знамени расплылось бурое пятно. Лина расстегивает ремень, приподнимает гимнастерку вверх — к лицу

Редина. Вот она, рана — крохотная темная точка чуть выше левого соска. Ее сразу и не заметить, если бы на белой коже вокруг не было красноватого венчика величистой со старинный медный пятак.

— Переверните его на бок. Может быть, вышла пуля, — тихо и торопливо говорит Лина.

На спину лейтенанта страшно смотреть. Пуля вышла около позвоночника в пояснице. Вокруг выходного отверстия все почернело от загустевшей крови.

— И как не задело сердце, — шепотом говорит Зуйков. — Ведь через все тело прошла. И с левой же стороны...

Осторожно поддерживаем обмякшего, словно сразу отогревшегося в тепле лейтенанта, а Лина опутывает его грудь бинтами. Затягивает узелок. Начинает перевязывать поясницу. Ее руки, выпачканные в крови, мелькают у моего лица. Она действует быстро и ловко и без конца повторяет одно и то же:

— Потерпи, миленький... Все будет хорошо... Потерпи...

Редин не теряет сознания. Он молча смотрит на Лину, на ее лицо, руки. Он снова все понимает. Это ясно по его взгляду. Но на какое-то мгновение зрачки его неожиданно расширяются и застывают в мучительном удивлении.

— Холодно, — хрипит лейтенант сквозь зубы, хотя в землянке душно от теплого воздуха.

— Потерпи, миленький, — тотчас откликается Лина. Она не говорит, а воркует. Ласково, нежно воркует почти на ухо Редину: — Сейчас тепло будет... Все будет хорошо... Немножечко, немножечко потерпи...

Лина успокаивает, как может. Но мы видим — она едва сдерживает слезы и не очень верит в свои слова. Да тут и не нужно быть медиком, чтобы понять, что значит такая рана.

Сооружаем мягкую постель из сложенного вчетверо брезента и парашюта. Укладываем лейтенанта на правый

бок — так велела Лина. Накрываем шинелью. Он начинает бредить. То во весь голос, то едва слышно, бессвязно и отрывисто говорит о какой-то Шурочке. Наконец затихает. Дышит размеренно, спокойно.

— Может, уснет. Потихе, ребята, — вполголоса просит Бубнов. Но в блиндаже и без его предупреждения тихо. Слышно, как падают на брезент песчинки.

— Пи-ить... Пи-ить... — стонет Редин.

Зуйков торопливо наливает из чайника кипяток. Вода оглушительно громко плещется о жестяные стенки кружки.

— Наверное, остыл, — шепчет сержант. — Надо бы подогреть.

Лина отбирает у него кружку и, протягивая ее Бубнову, предостерегающе шепчет:

— Ни в коем случае не давайте. Ни капли. — А сама кладет руку раненому на лоб. — Немножечко потерпите, товарищ лейтенант. Принесут воды — напоим. Обязательно напоим.

Редин постепенно успокаивается. Вскоре он забывается, лежит тихо, недвижно.

— Я прилягу. Не могу больше. — Лина кивает на лейтенанта. — Если он проснется, меня сразу будите.

Она вытягивается на нарах и засыпает, едва успев прикоснуться щекой к мешку. Сон у нее не женский — крепкий. Ее не будит даже громкий крик Редина, который начинает метаться в бреду:

— Всем за мной... Быстрее...

Он говорит с трудом, то и дело срываясь на хрип:

— Бейте их, гадов!.. Шура! Ты здесь, Шурочка?.. Холодно...

Лейтенант отрывисто и надрывно кашляет. В горле у него хрипит и булькает. На губах появляется красноватая пена.

— Лину разбудить надо, — говорит один из саперов. Но его останавливает Бубнов:

— Не трогайте ее.

Редин умирает тихо. Как будто засыпает от усталости. Закрывает глаза и затихает.

Накрываем его свободным концом брезента. Сапер заботливо, как живому, подсовывает ему под голову телогрейку. Зачем? Для чего ему это?

Зуйков тормозит Лину. Она тотчас вскакивает, смотрит на Редина, машинально протягивает руку к своей санитарной сумке и, не дотронувшись до нее, вдруг громко всхлипывает и, сторбившись, закрывает лицо ладонями. Торопливо выхожу из землянки; я не могу видеть, как она плачет. На свежем воздухе дышится легче. И в то же время труднее: что-то сдавило горло, будто сжало его чем-то со всех сторон...

А над высоткой снова ясные яркие звезды. Лупа, не вылезавшая в последние ночи из облаков, светит из всех сил. Все так же черпает своим бездонным ковшом мглостую туманную изморозь Большая Медведица... Не стало на земле еще одного человека. А вокруг все остается таким же — и лес, и небо, и поле, припудренное свежим снежком, словно прикрытое белым саваном.

За спиной кто-то кашляет. Это Бубнов. Вспышки цигарки освещают его лицо. Он хмуро смотрит прямо перед собой, не замечая, как огонек окурка подбирается к пальцам.

— Перед рассветом сменим саперов, — произносит он глухо. — Пусть лейтенанта похоронят свои.

Швырнув окурков, он уходит к самоходкам. К Грпбану.

Командование остатками роты саперов принял мой старый знакомый сержант Шаповалов. Ночью, когда здесь, в этих траншеях, мы вместе отбивали атаку, я не успел его как следует рассмотреть. А сейчас он снял капюшон, закрывавший его лицо до самых бровей, завернул уши

шапки наверх и сделался совсем другим. С крупной головой, прочно держащейся на жилистой шее, с пучками морщинок, убегających от глаз к вискам, с прядками курчавых седых волос, упрямо выбивающихся из-под шапки, он стал намного старше, чем мне показалось той ночью.

— Сержант Шаповалов! — докладывает он Бубнову, лихо вскидывая руку к правому уху.

Дела у саперов неважные. В роте осталось двадцать три человека, и неизвестно, будет ли пополнение.

— Вы к нам вместо лейтенанта Редина, да? — спрашивает сержант Бубнова и не дает ему ответить. — Жалко товарища лейтенанта. Хороший был командир. Боевой. Вот это его КП. Здесь он всегда находился. Теперь вам тут придется жить. Устраивайтесь...

На повороте траншея становится глубже. Здесь можно не пригибаться, стоять в полный рост. Даже высокий Шаповалов едва достигает бруствера головой. В стенке окопа выдолблена глубокая ниша с овальным сводом над широкой ступенькой, застланной ветками. Судя по всему, ступенька служит здесь и скамейкой, и лежанкой для отдыха.

Садимся на мерзлые хрустящие ветки. И только теперь Бубнов объясняет причину нашего визита к саперам. Шаповалов явно разочарован. Он с огорчением говорит о том, что в роте не осталось ни одного офицера, что можно было бы давно прислать кого-нибудь из штаба или с КП батальона. Но оттуда присылают только сухой паек да патроны.

— А я вас, кажется, где-то видел, — внезапно прервав рассказ, говорит он Бубнову. — Поэтому и подумал сразу, что вы из нашего батальона.

— Здесь и виделись. Вот на этом месте, — говорит Бубнов. — Неделию назад. Когда немцы лезли...

— А ведь точно! — Сержант заметно оживляется и кивает в мою сторону. — Его я сразу узнал, а вас только сейчас припомнил. Вы тогда вдвоем к командиру роты

ушли — туда, влево. Хорошо тогда ваши пушки поддали фрицам. А вы, по-моему, еще в контратаку с нашими ребятами ходили на левом фланге...

Бубнов пожимает плечами:

— Метров пятьдесят пробежал...

Шаповалов молчит, будто припоминая детали ночного боя. Затем спрашивает:

— Товарищ лейтенант, разрешите с вами посоветоваться?

— Пожалуйста!

— Вы член партии?

— С сорок первого.

— Тогда все в порядке. Понимаете, какое дело. Двое бойцов заявления в партию подали. Одному сам лейтенант вчера ркомендацию дал. И он хочет, чтобы его именно сегодня приняли — в день гибели товарища лейтенанта. Я ему говорю: подожди, а он на своем настаивает. Просит.

— А парторг у вас есть?

— Убило его. Нового не успели выбрать.

— А сколько коммунистов?

— Десять.

Бубнов задумывается.

— По-моему, надо собрать коммунистов, выбрать парторга роты, а потом решать вопрос о приеме.

— А это по уставу будет? Законно? — задумчиво спрашивает Шаповалов.

— По-моему, да.

Сержант поглядывает на свои маленькие, тонкие, как пуговица, трофейные дамские часики и опять спрашивает Бубнова:

— Боюсь, один не сумею такое ответственное собрание провести. А может, прямо сейчас проведем? Пока вы здесь? В случае чего поможете...

Бубнов соглашается, и Шаповалов буквально срывает с места.

— Мальцев! — кричит он розовощекому младшему сержанту. — Всех коммунистов сюда, на КП. А еще позови Парамонова и Рычкова. За пулеметчиков пусть остаются вторые номера. Им никуда ни шагу!

Низко пригибаясь, один за другим тянутся солдаты к командному пункту роты. Обветренные, в истертых, помятых, грязных шинелях, они приветствуют Бубнова, с любопытством разглядывают его, присаживаются на земляную скамейку или прямо на дно окопа, закуривают.

Один из них в шапке, у которой надорвано ухо. Из широкой рваной дыры выбивается вата.

— Что у тебя с ухом? — строго спрашивает Шаповалов. — Почему не зашил?

Боец снимает шапку, рассматривает ее, запикивает указательным пальцем торчащие ватные хлопья в дыру.

Снайперу она поправилась. Сегодня пулей задело, товарищ сержант, а иголки под руками не оказалось. — Он осторожно дергает ухо — пробует, не оторвется ли?

— Пока крепко держится, — говорит солдат, надевая ушанку и вытягивая руки по швам. — А раз шапка целая, значит, и голова на месте.

Солдаты смеются. А я смотрю на них — усталых, обросших, промерзших — и думаю о том, как удалось им привыкнуть к этой нелегкой жизни в холодных сырых окнах. Дни напролет сидят они на морозе в ожидании вражеских вылазок. Их постоянно выслеживают снайперы. А по ночам саперы ползают по передовой — долбят железную землю, ставят и маскируют мины, а потом охраняют, чтобы их не сняли немцы.

Подходят два ефрейтора. Здороваются. Не ожидая приглашения, по-хозяйски усаживаются на земляной выступ.

— Все собрались? — спрашивает сержант и пересчитывает солдат: — Восемь из десяти. Двое ушли хоронить командира. Отсутствующих без причин нет.

Он выпрямляется, многозначительно и серьезно огля-

дывает бойцов, поправляет съехавшую набок пряжку широкого офицерского ремня.

— Товарищи! — Шаповалов снимает шапку. — Предлагаю почтить минутой молчания память наших боевых товарищей — коммунистов, павших в боях за Родину, парторга сержанта Николая Степановича Фролова и командира роты гвардии лейтенанта Дмитрия Ильича Редина.

Бойцы одновременно поднимаются с мест. Снимают шапки. Замирают, словно в строю...

— Можно садиться, — тихо говорит сержант. — А теперь начнем партийное собрание. Нам надо выбрать парторга. Какие будут мнения по поводу кандидатуры?

Солдаты молчат, переглядываются. С земляной скамейки поднимается младший сержант лет тридцати.

— Я, Степаныч, предлагаю тебя самого выбрать, — говорит он, обращаясь к Шаповалову. — Гадать тут пачего. Ты и в обиду не дашь. И потребовать можешь. И в бою выручишь. Мы давно тебя знаем. Вот и весь сказ.

Шаповалов от неожиданности моргает глазами. Мне кажется, что его жилистая шея словно сжимается, становится короче.

— Это как же? — растерянно произносит сержант. — Сейчас я за командира. Мне, наверное, не положено заодно и парторгом быть. Нельзя...

— Можно! — выкрикивает из дальнего угла траншеи черноволосый, темный от загара боец со жгучими как смоль глазами. Видимо, он с Кавказа — азербайджанец или грузин. Говорит с южным акцентом и сразу «заводится», горячится:

— Если выбираем, значит, доверие оказываем. Значит, можно. Почему нельзя?! Давайте голосовать!

— Голосовать! — подхватывают остальные. Бойцы откладывают в сторону автоматы, стаскивают варежки, поднимают руки. Семь рук — патружейных, с мозолями на

ладонях, с красными, непослушными, зазябшими пальцами, которые одинаково ловко умеют вывинчивать взрыватели мин, набивать диски и пулеметные ленты, разбирать автоматы, держать оружие и лопаты, — словно приестьствуют нового парторга.

— Что же, получается единогласно, да? — спрашивает Шаповалов у Бубнова, позабыв сказать, чтобы бойцы опустили руки.

— Тогда продолжать будем, — говорит он взволнованно и торопливо достает из кармана два маленьких листочка. Бережно разворачивает один из них.

— Встань, Рычков, твое заявление разбирать будем, — обращается он к молодому подтянутому ефрейтору.

— Рекомендуют Рычкова Николая Федоровича в партию гвардии лейтенант Редин и младший сержант Холодилин.

Рычков стоит руки по швам и заметно волнуется. Краска смущения пробивается даже через плотный загар лица. Его обветренные щеки становятся еще бронзовее, покрываются неровными темными пятнами. Он стоит, подавшись вперед, и напряженно слушает свое заявление. Во взгляде его застывает томительное ожидание чего-то необычайно серьезного.

— Пусть расскажет биографию, — говорит кто-то из бойцов.

Ефрейтор растерянно оглядывается на голос, задумывается, опускает глаза, словно разыскивает что-то взглядом на дне траншеи.

— Я сейчас, — выдавливает он смущенно и, откашлявшись, начинает говорить — нескладно, отрывисто, с хрипотцой в голосе.

— Я, Рычков Николай Федорович, родился в двадцать четвертом году... В Красноярском крае, в деревне Подлесково... Ну, в школе учился. Восемь лет учился... Потом работал в МТС. Слесарил... С ноября сорок второго в армии... И вот здесь...

— Почему не закончил школу?

Рычков с удивлением смотрит на солдата-кавказца, задавшего вопрос, собирается с мыслями:

— В финскую отец погиб. А у меня три сестренки младшие. Как война началась, вот эта война, голодно стало... Пошел на работу.

— Ясно, — решительно подводит черту Шаповалов. — Холодильник, ты рекомендуешь Рычкова. Тебе слово.

Коренастый широкоплечий Холодильник удивительно напоминает матроса Балашова из фильма «Мы из Кронштадта». Такое же широкое лицо с выдвинутым подбородком, такой же сердито-озабоченный взгляд из-под низких бровей.

— Я за Рычкова ручаюсь, как за себя. Потому и рекомендую, — твердо выговаривает он каждое слово. — Мы с ним вместе с Курской дуги. Породились в окопах. Сейчас что главное в человеке? Как он воюет — вот что главное. А под Прохоровкой кто гранатами подорвал «тигра»? Рычков подорвал. Кто под Грайвороном расчищал танкам проход? Тогда двое наших ошиблись, подорвались. А третий Рычков был. Он не подорвался. Потому что руки у него золотые. И прыгающие мины он первый научился снимать. И других научил. И здесь без страха воюет. А два ордена Красной Звезды о чем говорят? О том же: Рычков достоин быть коммунистом.

А Рычков мнет в своей руке шапку, которую, видимо, от волнения позабыл надеть. Холодный ветерок шевелит его реденькие светлые волосы.

— Скажи, Рычков, ты за что воюешь? — неожиданно спрашивает один из бойцов.

Ефрейтор удивленно вскидывает голову:

— Как за что?! За Родину...

— А как ты понимаешь это слово?

— Как я понимаю? За что воюю, да? — Рычков задумывается. — За мать и сестренку своих, чтобы немец

и ним не пришел. И за себя, за всех нас... За Москву. За нашу землю... Вот и за партию нашу хочу воевать достойно...

— Правильно. Хватит вопросов, — выкрикивает из своего угла сапер-кавказец. — Принять!

— Других предложений нет? — спрашивает Шаповалов.

И снова поднимаются руки. Все до одной. Рычков закусывает губу, боясь посмотреть на товарищей.

У Парамонова биография другая. До войны работал бухгалтером в леспромхозе. В комсомоле не был. Зато на фронте он с сорок первого. Воевал на границе. Два раза ранен. В батальоне со Сталинграда. Наводил переправы, под Харьковом подорвал вражеский дот.

Видимо, его все знают и любят, потому что больше говорят о нем, а ему не задают никаких вопросов. Когда доходит до голосования, с вышки от наших самоходок доносится нестройный винтовочный залп. За ним второй, третий.

— Это салют. Прощальный салют товарищу лейтенанту, — говорит Шаповалов. — Давайте и мы отдадим ему последнюю почесть как коммунисту, до конца выполнившему свой долг перед Родиной и партией... Приготовить оружие!

Бойцы встают, поднимают вверх автоматы и карабины, щелкают затворами.

— Одиночными. Огонь! — командует сержант.

Над траншеями проносится хлесткий удар залпа, сопровождаемый лязгом затворов. Мы с Бубновым тоже стреляем вместе со всеми. Он из пистолета ТТ. Я — одиночными из своего автомата.

— Огонь!..

Расползается по окопу серый пороховой дымок. Саперы сосредоточенно, деловито проверяют затворы, ставя их на предохранители. Они делают это привычно и молча,

не оглядываясь друг на друга. Сейчас каждый занят своими мыслями. Притихшие, еще больше посерьезневшие, садятся они на свои места.

Я смотрю на Рычкова — усталого, загорелого, обветренного. Он задумчиво глядит прямо перед собой в стенку трапези. Перевожу взгляд на Парамонова — взволнованного, словно растерянного, — и думаю о том, сумею ли я стать вот таким же, как они. Когда-нибудь я ведь тоже буду вступать в партию. Но станут ли так говорить обо мне, как о них? Заслужу ли я такие слова?.. Ловлю себя на мысли, что завидую им обоим.

«ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ КАЖДОМУ...»

Лина становится нашим частым гостем. И мы всегда рады ее приходу. Люблю смотреть, как лихо швыряет она на пары пузатую санитарную сумку. Но сейчас она останавливается у порога и долго, надрывно кашляет. Отодвигаемся, освобождаем ей место возле печурки. Непослушными, зазябшими пальцами она тянется к огню, жадно хватая ими горячий воздух.

— Кипяточку не найдется, а? — голос у нее стал хриплый, почти мужской.

Кравчук поспешно отстегивает от пояса фляжку, опрокидывает ее содержимое в кружку-жестянку.

— Выпей. Лучше всякого чая поможет.

— Что это?

— Напиток «Ух» — захватывает дух, — старшина картинно закатывает глаза. — Сам бы пил, да сестричку жалко...

Лина подносит кружку к губам. Зажмурившись, быстро отхлебывает два маленьких глотка, рывком протягивает кружку обратно угодливо улыбающемуся Кравчуку.

— Не могу водку...

— Мы тоже водку не пьем. Мы — спирт, — Кравчук

вздыхает и смотрит на Лину взглядом, в котором и жалость, и восхищение, и преклонение.

А она стаскивает с себя полушубок, привычным жестом поправляет волосы. Протягивая ей наш неприкосновенный запас — последнюю банку свиной тушенки.

— Вот скоро чай закипит — отогреетесь, — хлопочет возле нее Зуйков. — Садитесь поближе к огню. Привдвигайтесь...

Ей каждый готов услужить. Ей лучшее место. Одеть бы ее сейчас в меховую шубку. Посадить в мягкое кресло к пышущей жаром печке. И напоить горячим шоколадом самого высшего из всех сортов, какие существуют на свете. Честное слово, она это заслужила.

— А ведь у меня молока с полстакана есть, — спохватывается Лина. — Ребята целую фляжку из леса прислали. Говорят, недалеко от КП батальона лесник живет. И у него самая настоящая живая корова — ухитрилась при немцах уцелеть.

Лина достает из сумки блестящий металлический бачок, откидывает крышку. В нем кусок льда — белого-белого с голубыми трещинками-прожилками. Ставим посудинку поближе к огню. Лина расстегивает воротник гимнастерки, приваливается к стенке, до блеска отшлифованной солдатскими ватниками, шинелями, плащ-палатками. Припухлыми от мороза бледными, словно бескровными, губами она жадно втягивает теплый дурманивший воздух землянки.

Я люблю смотреть на ее губы. Когда она молчит, по ним можно безошибочно определить ее настроение. Сомкнутся в одну тоненькую линию, — значит, начинает сердиться. Чуть опустятся вниз уголки — чем-нибудь недовольна. Зато улыбка одними губами сразу придает ее лицу ясность, и стоит в это время произнести шутку, она обязательно засмеется и словно засветится изнутри.

Но в последние дни Лина смеется редко. Я понимаю — ей трудно в окопах. Целыми днями на холоде.

Не только руки — и щеки ее обветрились, загубели. И солдатская одежда, которая в целом идет ей, словно бы потускнела. Полушубок вымазан. Тут и там темные полосы — следы сырой окопной земли. Сапоги заляпаны глиной, которую не отскоблить. А помыть их на высоте нигде...

И все-таки она не жалуется на тяготы окопной жизни. Наоборот, даже передо мной всячески старается скрыть, что ей не по силам эта жизнь в одинаковых условиях с мужчинами, успевшими ко всему привыкнуть.

Хочется сказать ей что-нибудь приятное, от чего бы она развеселилась и улыбнулась. Но меня опережает Кравчук:

— Лина, можно я поиграю? — спрашивает он во всеуслышание и выжидающе косится на Лину.

Начинается! Оказывается, Кравчук уже притащил из самоходки баян: картонный короб с протертыми, разломатившимися углами стоит у стенки на нарах. Значит, с помощью «обходного маневра» решил он втереться в доверие к Лине. Хлюст! Я уверен, что он заранее продумал и весь репертуар сегодняшнего «концерта». Хочет взять ее за сердце, разбередить душу, чтобы завтра она сама попросила его сыграть. Это он может. Играть он умеет.

Кравчук подтягивает к себе черный короб, щелкает замками. В этот момент раздается взрыв. Землянка вздрагивает. Второй, третий удар. Очередной артналет фрицев на нашу батарею. Снаряды рвутся совсем рядом.

Пальцы Кравчука замирают на клавишах баяна.

В землянку врывается Шаронов. Распахнув настежь дверь, он кричит неестественно громко:

— Санитарку! Шаймарданова ранило!

Это наш наводчик, татарин. Скромный, застенчивый, честнейший человек.

Словно пушинка, подхваченная ворвавшимся вихрем холодного воздуха, срывается Лина с места. От ее резкого движения бачок опрокидывается, и растаявшее молоко

тоненькой струйкой течет по глиняной стенке. И странно — никто даже не шелохнулся. Мы, словно завороженные, смотрим на крохотный беленький пульс стекающей по стенке молочной струйки, который затихает вместе с последними капельками, белыми горошинками скатывающимися из бачка на обугленные, спекшиеся комья глины.

Вслед за Линой поднимается Грибан.

«И когда он успел проснуться?»

— Пока артобстрел не кончится, из землянки не выходить, — бросает он на ходу.

Наше убежище встряхивают новые взрывы. За воротник гимнастерки, раздражающе покалывая кожу, проникает песок. Он просачивается из щелей, которых в бревенчатом потолке великое множество. Начинается шквальный артиллерийский обстрел. Снаряды гулко ударяются в промерзшую землю.

— Снова зашебутились, сволочи, — ворчит проснувшийся Смыслов.

За ночь Юрка намаялся — два раза ходил с донесениями к Кохову — и спал как убитый. Но и его разбудила канонада.

Опять несколько раз подряд вздрагивает земля. И снова тишина. Ее прерывают только приглушенные голоса.

— Вы откуда родом, товарищ лейтенант?

— Ленинградец.

Это Егорка пашел время для знакомства с биографией Бубнова.

— Вы — бывший моряк?

— Угадал.

— У вас на ремне пряжка морская. Я так и подумал, что вы бывший балтийский моряк.

— Только не балтийский, а черноморский.

— Как же это так — сами из Ленинграда, а попали в черноморские моряки? Непонятно как-то...

— На войне многое непонятно, — тихо говорит Буб-

нов. — Жил в Питере. Сейчас мать там живет и пятеро братьев. А служить довелось в Одессе. Сначала на крейсере. Потом морская пехота. А после ранения — самоходная артиллерия, ни дна бы ей ни покрывки.

— Во флоте лучше?

— Не во флоте, а на флоте...

Грохот взрыва не позволяет расслышать ответа. А затем разговор сам собой переходит в другое русло.

— Молоко вытекло, — говорит Кравчук, отодвигая опрокинутый бачок от огня. — Тоже сообразила — на фронте молоко пить. Чудачка!

Он уже забыл о баяне. Как только Липа выбежала, сразу потерял к нему интерес, опять задвинул подальше в угол. Кравчук даже не скрывает, что собирался играть для нее одной.

— А у нас в Нерчинске молоко тоже сохраняют ледяшками, — задумчиво говорит Пацуков. — Заморозят и в сарай или в погреб выносят.

— На базар придешь: «Дайте кусок молока!» — подхватывает Смыслов. Он начинает паясничать. — Или так можно спросить: «Отпилите мне молока вот от этого кирпича». Здорово!

— А что? И на базаре продают кусками, — ворчит Пацуков. — Я сам продавал. У нас две коровы перед войной было.

Мирный разговор начинается здесь, в землянке. А там, наверху, может быть, гибнут люди. И каждый из нас мог оказаться там, рядом со смертью, как Шаймарданов.

— Между прочим, случай интересный произошел с нашей коровой, — растягивая слова, как резину, начинает рассказывать Пацуков. — Кроме шуток. Она из хлева зимой сбежала и отелилась в лесу. Через неделю нашли их. Буренку поймали. А телок одичал. Увидел людей — испугался. Бегает, близко не подпускает. Бились-бились — и решили его пристрелить...

— Надо было из миномета, — советует Смыслов.

— Я серьезно. Я сам все видел, — невозмутимо продолжает Пацуков. — Хотели пристрелить, а один дед вылезался поймать. Переоделся в тулуп, вывернутый шерстью наружу, и пополз по снегу. Так телок сам ему в брюхо ткнулся. Подбежал и ткнулся...

— Пойду посмотрю, что там случилось. — Бубнов слезает с пар, набрасывает шинель.

— А почему начальству можно, а нам нельзя? — спрашивает Смыслов так, чтобы все слышали.

— Потому что начальство имеет право тебе приказывать, а ты ему нет, — спокойно говорит Бубнов, оставаясь у порога. — Я тебе, Смыслов, приказываю сидеть на месте и не выходить наружу даже по естественным надобностям. Кравчуку обеспечить старшего сержанта Смыслова стреляной гильзой сто пятьдесят второго калибра. Вместо горшочка. Ты понял, Смыслов?

— А чего тут не понять...

— Повтори.

— Сидеть и не высовываться. Ну и...

— Только без «ну», — улыбается Бубнов. — Насчет «ну» это ты с Кравчуком выясняй.

Бубнов уходит, впустив облако промерзшего воздуха, и в землянке наступает тишина, лишь изредка прерываемая упругими подземными толчками да шорохом падающих на брезент песчинок.

— Жалко Шаймарданова, — наконец тихо произносит Кравчук. — Наверное, снарядам его.

— И-да... Снаряд, он не разбирает... Любого может укокошить в два счета... Он и в окопе и в танке найдет...

Это подает голос Зуйков. Обычно он неразговорчивый. Его трудно расшевелить. Но в минуты опасности он всегда начинает вслух поносить и немцев, и погоду, и неудобства фронтовой жизни. В трудные моменты Зуйков словно жалуется на все самому себе, жалуется не торопясь, тягуче и пудно, будто обнюхивая каждое слово и только потом выпуская его на волю.

Кравчук, видимо, тоже подметил эту странность пожилого сержанта.

— Василь Семеныч, а почему ты всегда недоволен во время обстрела? — спрашивает старшина... — И сразу разговоры о смерти заводишь?

— Кто? Я?! Разве кому охота о ней говорить?

— О ком — о ней?

— Не о ком, а о чем...

— Ну, о чем?

Зуйков молчит. Но Кравчук не отстает от него:

— Я тебя, Семеныч, нарочно допытываю. Хочу, чтобы ты слово «смерть» произнес. А ты боишься. Я давно замечаю, что ты боишься сказать это слово. Ты вроде бы суеверный. Ты в бога веруешь?

У Зуйкова дрогнули губы. Он весь напрягся.

— А ты бога не затрагивай, губошлеп... Ты повоюй с мое, так запоешь по-другому...

— Ладно, и с твое повоюю. Только ответь — веруешь в бога?

— Верую или нет — не твое дело. А жить хочется каждому... И верующему и не верующему... Вот тебе разве не хочется домой к матане вернуться? Ты ее, поди, спишь и видишь...

— Постой-постой, Василь Семеныч, — перебивает его Кравчук. — Ты верно сказал, что жить хочется каждому. Тут я с тобой не спорю. Но ты мне ответь, почему верующим не хочется поскорее в рай, ведь там, говорят, лучше, чем на передовой. И еще скажи, почему и герою и трусу одинаково жить хочется, хотя живут они на фронте по-разному и умирают по-разному. Шаймарданов, например, четыре «тигра» сжег на Курской дуге. Ему не стыдно будет домой, как ты говоришь, к матане, вернуться. А тебе, например?..

Зуйков не успевает ответить. Их спор прерывает лейтенант Шаповалов. Едва он закрывает за собой дверь, мы набрасываемся на него с вопросами.

— Сейчас в тыл увезут Шаймарданова. В ногу ему попало. Но вроде не очень здорово, — хмуро рассказывает помпотех. — Грибан приказал на самоходке их отвезти. Там еще двое саперов раненых и санитарка ихняя. Ее вот сейчас осколком задело.

Чувствую, как бешено заколотилось сердце.

— Какая санитарка?! — опережает меня Кравчук.

— Как какая?! — удивляется Шаповалов. — Санинструктор саперной роты. Она одна тут у нас была. Сержант. Хорошенькая такая, черненькая...

«Была?!»

Не помню, как выскакиваю наверх. В голове вязкий липучий туман.

«Была!..»

Ни души у входа в блиндаж. Люди толпятся у самоходки, которая стоит у самого леса. Бегу туда.

Лина лежит на санитарных носилках с заострившимся, побледневшим лицом. Увидев меня, пытается улыбнуться, но улыбка получается невеселая — губы кривятся. На переносице проступают морщинки. Зажатым в кулачке марлевым индивидуальным пакетом она закрывает рану. Осколок попал ей в грудь — чуть ниже правой ключицы. Пуговицы ее гимнастерки оторваны. Ворот распахнут. Видна белая кожа шеи. Правой рукой Лина пытается прикрыть обнаженное место. Она и сейчас смущается!..

Я всегда был готов встать перед ней на колени. Но эта возможность предоставилась только сейчас. Лишь теперь это делаю, никого не стесняясь.

— Как же так?..

Лина не отвечает. Молчит. Косится на обступивших бойцов и Грибана. В глазах тоска, отчужденность.

— Надо перевязать...

Пытаюсь отвести в сторону воротник гимнастерки, чтобы взглянуть на рану. Но Лина поспешно закрывается правой рукой, натягивает на шею воротник полушубка.

— Не надо. Уйди... — И словно спохватывается: — Нет, нет!.. Не уходи, Саша...

Что же ей сказать, чем помочь? Надо что-то придумать. Что?..

К нам подбегают двое саперов. Один из них тянет меня за рукав:

— Ты что тут застыл, как памятник?! — Он оттискивает меня от носилок плечом. — Рано нашей сестричке памятник ставить. Мы еще на свадьбе у нее погуляем.

Лина с трудом поворачивает голову в мою сторону. Взгляд у нее печальный и виноватый. Она опять силится улыбнуться. И не может...

— Подойди, Саша, — просит она едва слышно.

Торопливо наклоняюсь над ней, целую в губы. Получается как-то неуклюже, неловко. А с машины уже торопят.

— Отвезешь в лес. Сдашь санитарам и сразу обратно, — напутствует Грибан водителя. — Не задерживаться ни минуты!..

Саперы легко поднимают носилки, подают их наверх, на самоходку, где лежат Шаймарданов и двое саперов.

Вздрагивает под ногами земля. Тяжело, с лязгом и скрежетом трогается самоходка с места. Шаймарданов приподнимается на локте, прощально машет нам варежкой. А Лина так и лежит неподвижно.

Все происходит будто в коротком сне. Не успеваю опомниться, а машина уже спускается в балку, подминает под себя реденькие кустики, мелькает за березками и дубками.

«А ведь я не дал Лине своего адреса!»

Эта мысль пронизывает меня словно током.

«Она не знает моей полевой почты!.. Как же мы разведем друг друга?!»

Чувствую, что готов рвануться, побежать вслед за самоходкой. Но стальная черепаха уже карабкается по про-

тивоположному склону оврага. Водитель обходит кусты, берет правее... Всё. Если сейчас и побежать напрямую к скирде, все равно не успеть перерезать им путь...

Разбредились по своим местам солдаты. Одни ушли к блиндажу. Другие к машинам. Обстрел прекратился. В неподвижном воздухе кружатся реденькие снежинки. Тягостная тишина висит над высоткой... Кажется, я один-единственный остался на этом унылом поле, перепоясанном лентами гусеничных следов. Опять пытаюсь отыскать глазами машину, которая успела уйти далеко и становится еле видимой. Темной горошинкой скатывается она с длинного пологого склона соседней высотки. То скрывается в мелких низинках, то опять появляется на пригорках. Словно кто-то медленно, не торопясь, выписывает на бесконечном снежном полотнище тягучую и нудную морзянку — тире и точки...

Передо мной, словно из-под земли, вырастает Левин. Он смотрит хмуро и озабоченно.

— Ты перестань тут бродить. Пойдем в блиндаж, — говорит он своим обычным спокойным тоном.

Я послушно шагаю за ним. В голове у меня какая-то путаница. Мысли вязкие, бесформенные, одна мрачнее другой. И все вокруг одного — нелепой внезапной беды, которую теперь ничем не исправишь.

Пока мы идем, Сергей не произносит ни слова. И за это я благодарен ему. Не хочется ни с кем говорить и в землянке, где все напоминает о Лине. На нарах, отсвечивая никелированным боком, валяется малюсенький медицинский бачок. Ее. От печурки к полу тянется белая полоса. Тут она сидела. Отсюда метнулась к двери.

В блиндаже Кравчук и двое саперов. Разговор был о ней — это ясно по последним фразам, которые я успеваю услышать.

— Так я и не сыграл для нее, — тихо говорит Кравчук. — Баян принес, а сыграть не успел.

Он поворачивается ко мне:

— Сань, ты не обижайся, если что не так было. Не хотел я вам ничего плохого.

Кравчук рывком пододвигает к себе ящик с баяном, с треском откидывает крышку. Он оглядывает землянку, выбирает, куда повесить или бросить шапку, которую обязательно снимает перед игрой.

— И надо же было ей лезть под снаряды, — произносит он с горечью в голосе и накидывает на плечи ремни.

Он усаживается поудобнее, наклоняет голову на прогнутую до белизны полировку крышки баяна, прищуривает глаза, уставившись неподвижным взглядом в одну точку — на огонек печурки.

Я ложусь на нары и смотрю на его корявые, узловатые пальцы. Потемневшие от солярки и солидола, неотмывающиеся, они, скрючившись, замерли над ладами-кнопками. Шевельнулись, робко поползли по ладам сверху вниз и вдруг начали упорно выковыривать из-под белых и черных перламутровых пуговиц то тягучие басовитые, то пронзительные тонкие звуки. Перемешиваясь в бездонной утробе мехов, голоса и басы сливаются в протяжную печальную мелодию. Музыка то затихает, то, вновь набирая силу, переполняет все пространство землянки. А мне чудится, будто пальцы Кравчука подбираются к моему горлу. Сначала скребут по нему, затем начинают тихонько сжимать. И дышать становится горько и солоно...

— Лина!.. Лина...

СТРАННЫЙ ПРИКАЗ

— Сегодня ночью Грибану предстоит работенка. Эту записку передай ему. Лично. В ней все изложено популярно, — сказал мне Кохов, прежде чем принести на прощание свое обычное напутствие: «Топай обратно. Наблюдайте во все глаза...»

Наша попытка прекратить «экскурсии» к Кохову не

удалась: не поддержали Бубнов и Грибац. Словно сговорившись, они ответили, что разведку надо продолжать: штаб полка должен знать обстановку на передовой.

И вот, согласно установившемуся порядку, я топаю от Кохова обратно. До места своего обычного привала добираться благополучно, хотя нестерпимо хотелось в пути поскорей заглянуть в бумажку, узнать, добрую или плохую весть несу я на батарею, какая «работенка» предстоит Грибану.

Но я решил прочитать записку только в лесу. И не изменил своему решению, вытерпел.

Сажусь у знакомого дубка-инвалида. Достая сложенный вчетверо листок. Слова написаны как будто совсем не коховским почерком. Буквы кланяются друг другу, расползаются в разные стороны, сливаются, налезает одна на другую. Говорят, по почерку можно определить человеческий характер. Это, наверное, правда. Судя по записке, Кохов писал или выпивши, или с похмелья. Вспоминаю — прямо на карте, разостланной на столе, стояли стаканы. На кровати спал незнакомый майор. Он даже не проснулся, когда Кохов давал мне напутствие.

С трудом разбираю слова:

«Гв. ст. лейтенанту Н. И. Грибану.

Командир 24 гв. танковой бригады приказал произвести разведку боем.

Задача — засечь и по возможности подавить огневые точки противника в Нерубайке. Вам придаются четыре танка и несколько орудий. Они прибудут сегодня вечером с наступлением темноты.

Начало разведки боем назначено на 24.00. Приказано перерезать дорогу севернее отметки 202,5, углубиться в оборону противника до отметки 184, где занять круговую оборону и вызвать огонь на себя.

Более подробные указания даст пом. начальника разведки бригады. Подчиняетесь ему. Его слово для вас закон. Желаю успеха! Гв. капитан Кохов.

Р. С. Сегодня дозвонился по телефону до штаба полка, но кроме тыловиков там только ПНШ-1. Остальные во главе с Деминым выехали на станцию получать новые самоходки. Помначштаба от имени полковника велел передать благодарность всем участникам обороны высоты и сообщить, что решено отличившихся представить к награде. Готовь дырочку для третьего ордена. Поздравляю. Гв. капитан Кохов».

Он дважды витиевато и лихо подписался под этим посланием. И это лишний раз подтверждает мое предположение, что Кохов, наверное, был под хмельком. А вот какой у него характер, я не пойму до сих пор ни по записке, ни по его поведению. Когда он веселый — умеет шутить и острить. А когда ему скажут что-нибудь поперек, он сразу «лезет в пузырь», делается несправедливым.

К моему удивлению, Грибан несколько не радуется поздравлению Кохова. Дважды перечитав бумажку, он сразу забывает о моем присутствии и отпускает в адрес капитана весьма нелестные фразы. Поглядев в записку еще раз, начинает искать кого-то глазами. Останавливает взгляд на мне:

— Позови Бубнова!.. Нет, подожди. Я сам к нему пойду.

Тяжелыми крупными шагами он направляется к блиндажу.

Я следую за ним. Бубнов долго изучает записку Кохова. Комбат ложится навзничь на нары и сосредоточенно разглядывает корявые и сучкастые бревна наката. Вешаю автомат. Присаживаюсь на краешек нар.

— Больше Кохов ничего не передавал? — спрашивает Грибан.

— Нет.

— У него был кто-нибудь?

— Майор какой-то спал на кровати... Не командир батальона — другой.

— Давай карту. Вместе посмотрим, — поворачивается Бубнов к Грибану.

Комбат садится, достает из планшетки сложенную гармошкой карту, расправляет ее на коленях.

— Дорохов! Прибавь огонька.

Достаю перочинный ножик. Выдергиваю фитиль. Он начинает нещадно коптить. Зато в землянке становится светлее.

— Смотри не смотри, но, по-моему, это авантюра. Знаю я эту дорогу. Мы вдоволь на нее насмотрелись, — говорит Грибан, явно волнуясь. — Если надо взять Нерубайку, вовсе не обязательно подставлять противнику зад или борт. Кохов другими категориями теперь мыслит. В лесу, кроме леса, ничего не увидишь... В общем, мне эта затея не нравится.

— А по-моему, это самая обыкновенная вылазка.

Вытягиваюсь на нарах. Две восьмерки — шестнадцать километров из положенных двадцати четырех — сегодня я уже отшагал: дважды сходил к Кохову. Надо отдохнуть перед последним маршрутом, хотя бы часок соснуть. Но разговор Грибана с Бубновым переходит в спор. Я отворачиваюсь к стенке и пытаюсь представить, какие жесты делает Грибан, когда доказывает свое. Он, паверное, рубит ребром ладони воздух перед самым лицом Бубнова. А лейтенант отвечает ему безо всякой жестикуляции, неторопливо, спокойно. В его голосе ни капли волнения. А Грибан все больше заводится, говорит все громче.

— Смотри. Вот она, отметка 184. Это голая лысица — хоть шаром покати. И зацепиться тут не за что, и укрыться негде. Вот и вызывай тут огонь на себя.

— Брось ты преувеличивать. Мы под Одессой не такие вылазки делали.

— То под Одессой.

— А здесь что? Какая разница?

— Там вы нос к носу стояли с противником. У немцев не было никакой возможности обойти вас — ты сам рас-

сказывал. А тут нас с двух сторон расстрелять могут, даже с трех.

— Мы скорее их расстреляем. Главное, быстрее засечь огневые точки.

— Там может вообще не оказаться огневых точек. В Нерубайку два «фердинанда» прошли. Допустим, мы засечем их, а что толку? Потом они переедут на новое место — и опять засекай, так?

— Может и так случиться.

— Лучше бы наших ребят в разведку послать. Человека три. Они все нужные сведения принесли бы. И «языка» можно взять без риска. Ты посмотри сюда. Дзоты у них наверняка вот где. Они ждут удара отсюда... Ну ладно, допустим, мы вышли к отметке. Встали. Что дальше? Фланги у нас открытые — и правый и левый. Цель как на блюдечке. До Нерубайки примерно девятьсот метров, до Омель-города чуть-чуть больше. С такой дистанции да еще в борт и дурак не промажет. Прямая наводка!

— Ты ведь не будешь ждать, когда они пристреляются. Развернешься и вложишь им... Бой так бой.

— Вся беда в том, куда разворачиваться. Смотри. В эту сторону повернешь — получишь болванку в зад. В другую развернешься, получишь то же самое, только с другой стороны.

— Что же ты предлагаешь?

— Поздно предлагать. Меня никто не спрашивал и теперь не спросит. По-моему, тут все с Коховым заранее согласовано. Понимаешь, Петя, не за себя я боюсь. За ребят. И машины жалко. У немцев здесь узловая оборона. В села они наверняка подтянули пушки. Конечно, их огневые точки необходимо выявить. И разведка нужна. Но ведь не так же надо все делать. Им трех-четырех пушек достаточно, чтобы наши коробки расколотить.

— Вообще-то с Коховым, как с начальником развед-

ки, должны были в первую очередь посоветоваться. Помоему, это он бодягу развел, — говорит Бубнов.

— Может, и он...

— Тогда нечего сидеть. Пойдем потолкуем с командирами орудий.

— Пошли...

Просыпаюсь от шума голосов. В блиндаже Грибан, Бубнов, беловолосый молоденький лейтенант и невысокий, едва достающий Грибану до плеча капитан, который почему-то в серой, а не в зеленой офицерской шинели. Грибан хмуро щурит глаза, осматривает нары, закопченные стены, меня и Юрку.

— Ты, Смыслов, сядешь на танк командира роты. Он пойдет впереди. У лейтенанта вчера радиста убило. У них все экипажи неполные. К тому же он просил парня поопытнее, чтобы в радиии разбирался отлично.

Грибан как будто оправдывается перед Юркой. А Смыслов пристально смотрит ему в лицо и молчит, словно удивленный той переменной, которая произошла со старшим лейтенантом, всегда решительным и в разговоре и в действиях, привыкшим приказывать, ничего не объясняя.

— Ты, Дорохов, останешься здесь, — говорит Грибан все так же тихо. — Дождешься зенитчиков — бронетранспортер и пушку. Их на поддержку нам выслали.

Он усмехается:

— Отныне они по наземным целям будут стрелять. Ты их встреть и с ними — по нашему следу. Не заблудишься. Следы хорошо видно.

Батарейцы руют обжитые гнезда. Стаскивают с гусениц брезент. Вынимают из-под машин плащ-палатки и вещевые мешки. Сносят незатейливый солдатский скарб в нашу землянку.

Помпотех Шаповалов входит в землянку, сгибаясь под

тяжестью двух вещевых мешков. В одном из них что-то позвякивает. Встретив удивленный взгляд Бубнова, он улыбается:

— Это мои трофеи. Всегда с собой. Никому не доверяю.

Одной рукой Шаповалов пытается повесить мешок, но гвоздь не выдерживает, сгибается.

— Отличный хирургический инструмент. Я им самоходки оперирую, — с добродушной улыбочкой говорит он Бубнову. — Только тяжелый больно. Сейчас пусть тут останется, а то, чего доброго, и сгореть может вместе с коробкой. А это мои пожитки...

— Я автомат тут оставлю, — говорит заряжающий Егоров. — У нас их пять штук в машине. Бренчат только. И место занимают.

Он кладет ППШ на нары, бросает в угол раздутый до невозможности вещевой мешок и смущенно топчется, не торопясь уходить.

— Тут останется кто-нибудь?

— Не бойся. Никто не тронет.

— Да нет, я не про это, — Егоров мпется. — Там старшего лейтенанта Грибапа вещи. Ну ладно, пошел я...

Поднимаюсь наверх. Около блиндажа лежат запасные баки, снятые с самоходок. Тут же кипы сложенного наспех брезента. Грибан и Бубнов о чем-то беседуют с капитаном и лейтенантом-танкистом. Неслышно подходит сзади Смыслов. Тянет меня за рукав.

— Поговорить надо, Саша...

Отходим в сторону. Я останавливаюсь, но он легонько подталкивает меня еще дальше. Шагаем молча.

— Что-то душа не на месте. И сам не понимаю. Никогда со мной не бывало такого, — невесело произносит Юрка, когда мы остаемся наедине. — У меня к тебе просьба. Возьми. На всякий случай. — Он протягивает свой толстый кожаный бумажник, достает из кармана гимнастер-

ки комсомольский билет. — Тут адреса. И ее. И матери. И документы тут.

— Ну зачем ты?..

— Я же сказал тебе — на всякий случай.

Кладу его комсомольский билет вместе со своим — в левый карман гимнастерки, прячу бумажник.

Он смотрит на меня с грустной улыбкой.

— Давай обнимемся, что ли... — и Юрка неуклюже обнимает меня свободной рукой. Я торопливо прижимаюсь к его шершавому, обветренному лицу...

Самоходки и танки медленно уползают в ночь. Машины трогаются с места по очереди — одна, вторая, третья. Скрежет и лязг железа. И у каждой свое неповторимое лязганье, у каждой по-своему рокошет мотор.

Мы остаемся вдвоем с незнакомым сапером.

— Это они в атаку пошли, в обход, да? — спрашивает солдат.

Он в грязной, обляпанной черноземом шинельке, в разбитых ботинках. Лицо у него в каких-то пятнах. Не поймешь — или обморозился, или с месяц не умывался. Скорее всего последнее...

— На разведку пошли...

— А зачем в ту сторону?

— Не знаю...

Нет никакой охоты отвечать на его вопросы. И без него тошно...

Словно подкрадываясь к нам, из балки выползает лобастый гусеничный бронетранспортер. Он тащит за собой пушку. Идет вверх по склону, прямо на нас. Из открытого сверху стального кузова торчат спаренные пулеметы, виднеются головы солдат. За командира у них старшина. Он понимает меня с полуслова.

— Я в курсе. Залезай сюда. Показывай, куда ехать. Зенитчиков восемь человек, не считая водителя. Они ни о чем не спрашивают, не проявляют ко мне ни малей-

шего интереса. Все какие-то сонные. Наверное, им не дали выспаться. А может, укачало в пути.

— Прямо по следу танков. Они ушли только что, — сообщаю я старшине. Он небрежно кивает водителю:

— Тебе ясно? Трогай...

РАЗВЕДКА БОЕМ

Останавливаемся в широкой придорожной канаве рядом с тридцатьчетверкой, отколовшейся от основной группы машин. По следам видно — остальные танки и самоходки ушли вперед. Они пересекли дорогу и, наверное, уже окапываются на отметке 184.

Зенитчики оживились, ворчат, переговариваются. Двое солдат так и не просыпаются — продолжают лежать неподвижно, прижавшись друг к другу.

К машине подходит танкист — в шлеме, в кожанке.

— Старшего к капитану, — говорит он, приподнимаясь на цыпочках к борту. Старшина спрыгивает вниз и идет вслед за ним к танку.

— Ты напомни, что артиллерия — бог войны. Пусть танкисты нам подчиняются, а не мы им, — кричит ему один из бойцов.

— Дима, швырни мне сидор, — просит снизу молоденький сержант. Ему сбрасывают из кузова вещевой мешок, и он ловко подхватывает его на лету.

— Шея болит, — ворчит третий. Он крутит головой, словно проверяя, на месте ли шейные позвонки, и спрашивает, ни к кому не обращаясь: — Вроде на место приехали? Да?..

Зенитчикам совсем невдомек, что днем по этому шляху курсировали немецкие грузовики и мотоциклы, что место нашей стоянки не такое уж спокойное, как им кажется.

К моему удивлению, дорогу мы оседлали без единого

выстрела. Подкрались, подошли незамеченными. Зато днем немцы не позволили бы нам такой роскоши. Они бы наделали шума. А сейчас притихли, затаились, молчат.

Я выполнил приказание Грибана. Зенитчики соединились с ударной группой, и мне можно отправляться обратно. Но на покинутой высотке сейчас нет ни души. И мне там нечего делать.

Возвращается старшина. На уровне борта маячит его новенькая серая ушанка с самодельной жестяной звездочкой.

— Ну, что, ефрейтор, помогать нам будешь? Тогда уматывай отсюда к пушке. Здесь без тебя управятся.

Он не слишком вежлив и обходителен. Прямо в лоб, без окольных слов дает понять, что на бронетранспортере мне нечего делать. Стаскивая с пулеметного прицела брезент и проверяя ленты, старшина косится на меня недовольно, почти сердито.

Переваливаюсь через борт и, оступившись, чуть не падаю на сержанта, который сидит, прислонившись к гусенице, и, словно любуясь насаженным на ножик огромным куском тушенки, разглядывает его со всех сторон.

— Тихе ты, жмурик! На штык сядешь! — Сержант глядит на меня с хитроватым прищуром. На его худом полудетском лице выражение бесшабашности. Шапка лихо сдвинута набекрень. Губы кривятся в иронической усмешке. Он пытается говорить строго, но в голосе ни капельки злости.

— Пропрыгаешь ужин, а жрать всегда вовремя падо, — произносит он назидательным тоном и добавляет миролюбиво: — Как говорили древние греки, лучше заправиться раньше, чем никогда.

Сержант внимательно оглядывает меня и неожиданно предлагает:

— Колбасы хочешь? А то заваруха начнется — и про желудок и про двенадцатиперстную кишку позабудешь.

Он протягивает мне увесистый кусок тушенки и повелительно бросает, кивнув на лежащий рядом вещевой мешок:

— Хлеб тут, сам бери. У нас официантов нет.

Присаживаюсь на станину орудия и с удовольствием уплетаю ароматную свиную тушенку. На тощий желудок она кажется деликатесом.

— Слушай, ефрейтор, тебе сколько лет?

— Восемнадцать.

— А мне семнадцать. Ни одного годка здесь не встретил. Я, как говорится, воспитанник полка. А ты из какого полка — из самоходного или танкового?

— Из самоходного.

— Не из четырнадцать сорок седьмого?

— Ага...

— А Смыслова знаешь?

От удивления я перестаю жевать:

— Конечно. Он здесь, — показываю в сторону дороги, куда ушли танки и самоходки.

— Фома здесь? Факир?!

Сержант смотрит на меня расширенными зрачками. Зажав остаток куска зубами и высвободив руки, он хлопает себя по коленям, видимо выражая таким своеобразным способом удивление и восторг.

— Ох и откалывали мы с ним номера в корпусной самостоятельности. Он и сейчас пляшет?

— Иногда. Под пулями... А так ему некогда.

— Ему некогда! Ха-ха... Ты его плохо знаешь.

Сержант разговаривает со мной свысока. Он явно бравирует, изображая из себя бывалого фронтовика.

— Вот бы со Смысловым сейчас увидеться! Его в полку тоже Фомой зовут?

— Не слышал.

— Это мы его так прозвали. Из-за фамилии. Читал в газетах «Заветное слово Фомы Смыслова»?

— Читал.

-- Поэтому и прозвали Фомой. Ты ему привет передай от Левки Чететкина. Это я Чететкин. Он знает. Меня полкорпуса знает...

На поле за дорогой ухает взрыв. Бравый сержант вскакивает, всматривается в темноту ночи. Из-за дороги доносятся новые взрывы.

— По местам! — кричат у меня над ухом. Это командует старшина своим зычным и густым басом. Он застегивает шинель. Натягивает перчатки.

— Левка, на место! Кончай жевать!

Чететкин не спеша засовывает наполовину опорожненную банку в мешок, недовольно ворчит:

— И пожрать не дадут. Опять концерт.

Отпихнув вещмешок ногой и сдвинув шапку на самый затылок, сержант шагает к орудию, на ходу поворачивается ко мне:

— Помоги подносить снаряды. Хватай их из ящика и вот этому артисту в лапы. Понял? Только быстро, бегом.

Как бы подавая пример, он проворно подскакивает к орудию, хватается за ручку, быстро крутит ее, отчего ствол пушки приподнимается вверх и угрожающе нацеливается на Нерубайку.

— Приготовиться к началу концерта!

Командир расчета здесь старшина. Но Чететкина никто не обрывает. Я не могу понять: или к его громким призывам тут все привыкли, или он тоже имеет право командовать.

А взрывы за дорогой все чаще. От них стало немного светлее. Неужели немцы успели засечь самоходки и танки?

Старшина подает новую команду. Чететкин становится к прицелу орудия, что-то опять крутит, оборачивается к расчету.

— Джанкулов, не разевай матюгальник! Снаряды давай! — кричит он истошным голосом. — Шевелись, братва!

И словно вспугнутая этим криком, ночь в одно мгновение сторае в ослепительно ярком огне ракет...

До смерти не забуду я эту ночь. Но вспоминается она бессвязно, отрывочно. В память врезались лишь отдельные эпизоды...

Лежу на жесткой подстилке из веток... В нашем блиндаже как будто все осталось по-старому. Так же потрескивает и чадит лампа-гильза. В углу безмятежно и мирно похрапывает Зуйков. Так же висит на гвозде «хирургический инструмент» помпотеха Шаповалова. И дощатая дверь, в которую приходят и уходят солдаты, скрипит по-прежнему.

Но никогда теперь не войдет в эту дверь лейтенант Бубнов. И к вещевому мешку Шаповалова теперь никто не притронется, пока мы не покинем высотку. И не с кем больше советоваться Грибану. Отныне по вечерам он будет сидеть над картой один...

Не нахожу себе места. И почему-то воспоминания о ночном бое всякий раз приходят под глуховатый простуженный голос Грибана, под характерный спокойный «питерский» говорок Петра Семеновича Бубнова — морского лейтенанта, нашего душевного командира взвода.

Закрываю глаза. А голоса Грибана и Бубнова не дают заснуть. Вот здесь у меня в ногах на этих нарах сидели они вчера вдвоем и говорили о предстоящем бое...

«Смотри, вот она, отметка 184... Тут не за что зацепиться. И укрыться негде...»

Так оно и случилось.

...Немецкие ракеты освещают поле. И самоходки оказываются как на ладони. Они стоят, развернувшись в разные стороны. Две из них прижались друг к другу. Одна нацелилась пушкой на Нерубайку, другая — на Омельгород. Своими стальными телами они словно прикрывают друг друга.

Ракеты, ракеты... Одни гаснут, а другие взлетают. Разгораясь все ярче и ярче, они вспыхивают целыми созвездиями. Сначала немцы стреляют ими только из Нерубайки. Но и этого достаточно, чтобы осветить всю равнину, на которой безмолвно застыли коробки самоходок и танков.

Вот очнулись, зашевелились немцы и в Омель-городе. Прочерчивая в темном воздухе кривые желтые трассы, оттуда устремляется в небо целый рой огней-осветителей. И вокруг становится светло, как в солнечный день.

Видно, как возле танков, выдвинувшихся к Нерубайке, вспыхивают огненные шары. Спросонья немцы стреляют осколочными. Это нам на руку. Сейчас легко можно засечь их огневые точки безо всяких потерь.

Оглушительно ухает зенитная пушка. Чечетки прильнул к прицелу. Он замер. Шевелится только рука. Сержант крутит какое-то колесико. На секунду оглядывается, что-то кричит, снова припадает к прицелу. Выстрел... Второй... Четвертый... Куда он бьет, я не вижу. Некогда посмотреть. Бегом подношу снаряд, подаю его кряжистому пожилому заряжающему, которого Чечеткин назвал артистом. В своем деле ефрейтор, видимо, и впрямь настоящий артист. С удивительной легкостью подхватывает «поросенка» одной правой рукой, поддерживает его под донышко левой ладонью, ставит на попа и, повернувшись к орудию, без задержки, с ходу посылает снаряд в казенник. Все движения его доведены до автоматизма. Он действует без спешки и суеты. И все у него рассчитано до долей секунды. Он подталкивает снаряд кулаком. Щелчок. Дергает ручку. Выстрел!

Ефрейтор быстро поворачивается ко мне. Но сейчас не моя очередь подавать снаряд. Бегу к ящикам, мельком оглядываюсь на самоходки. Они тоже открывают огонь. Начинается артиллерийская дуэль. Кто кого?..

«Фланги у нас открытые — и правый и левый. Для

немцев цель как на блюдечке. С такой дистанции да еще в борт...»

Нет, Грибан, насколько мог, сумел уберечь и людей и машины. Самоходки прикрывают друг друга. Командир танковой роты не догадался этого сделать. И расплата следует скоро. Немцы начинают швыряться болванками. Литые снаряды с визгом вгрызаются в борозды, взбивают фонтаны земли, рикошетом отскакивают в небо, оглашая поле пронзительным ревом. Кувыряясь в воздухе, неразрывающиеся «поросята» улетают в сторону Омель-города.

А в Нерубайке вспыхивает крайняя хата. Возле нее мечутся фигурки солдат. Немцы пытаются сбить, погасить пламя. Но оно разгорается, ширится. Теперь и там становятся заметными очертания танков, затаившихся на огородах.

И все-таки поединок неравный: слишком хорошо видны на равнине наши незамаскированные машины. Загорается тридцатьчетверка. Из башни выбиваются клубы дыма. В его черноте мелькают фигуры танкистов. Они припадают к броне и скатываются по ней вниз, на землю. И вдруг над танком взвивается столб огня. Будто игрушечная, приподнимается вверх тяжелая башня — вместе с пушкой, вместе с танкистом, не успевшим сделать единственный спасительный шаг. Подброшенная огромной силой внутреннего взрыва, башня переворачивается в воздухе и падает на землю рядом с дымящейся стальной коробкой.

«Нас могут расстрелять с двух сторон...»

Почему же никто не посоветовался с Грибаном?

...У второй тридцатьчетверки пламя появляется сзади. Ее настигает болванка, прилетевшая из Омель-города. Начинается обстрел с двух сторон — перекрестный, как говорят артиллеристы. Самый губительный и страшный обстрел.

По полю от горящих танков бегут к дороге наши солдаты. Они пригибаются к земле, ложатся, вскакивают, бе-

гут снова. А пули поднимают у них под ногами снежную пыль. Пулеметы строчат из Нерубайки. На чистом поле солдатам негде укрыться. Лучше бежать. И они бегут из последних сил. Одни успевают скрыться в кювете, другие ложатся передохнуть. Лежат неподвижно, чтобы собраться с силами и сделать последний бросок. Некоторые из них так и не поднимаются. Их вынесут оттуда позднее, когда закончится бой, — раненых или убитых.

Вижу, как загорается самоходка. Наша — та, что стояла отдельно. Дым обволакивает заднюю стенку башни, жалюзи, сетку. Он словно липнет к броне, серыми клубами подбирается от мотора к люку, к оружию. Но расчет жив. Он продолжает стрелять. Наверное, болванка попала в мотор — самое уязвимое место. Самоходка дымит все сильнее. Но она содрогается не от огня, которого так и не видно, а от коротких огненных всплесков, вылетающих из ствола. И раненная, она продолжает борьбу не на жизнь, а на смерть. Наконец распаивается люк. Из него вываливается сгусток дыма. Вместе с ним на башню выпрыгивает кто-то в дымящейся кожанке. Согнувшись, помогает выбраться наружу второму. За ними стремительно выскакивает третий. Жду четвертого. Его нет. Может быть, водитель вылез через свой люк?..

«Вот я и думаю — куда и как разворачиваться придется. В эту сторону повернешь, получишь болванку в борт. Сюда повернешься — другой бок подставишь».

К бронетранспортеру подбегает капитан-разведчик. В руках у него ракетница. Он что-то остервенело кричит старшине. Разноголосо звякнув гусеницами, машина трогается с места. Выбирается из укрытия. Захлебываясь, гулко и хлестко начинают бить спаренные зенитные пулеметы.

В небо ввинчивается зеленая ракета. Сигнал к отходу! И тотчас оживает молчавшая до сих пор командирская тридцатьчетверка. Ее пушка тоже нацелена на Нерубайку. Прикрывая отход, она присоединяется к квакающим

короткими частыми очередями пулеметам зенитчиков. Все чаще бьет и развернувшееся на Омель-город наше орудие. Четкий буквально висит на прицельном приспособлении. Он уже перестал кричать. Командует одной рукой, делая расчету какие-то таинственные знаки, которые артиллеристы понимают без слов.

А по полю уже мчатся на бешеной скорости две самоходки и тридцатьчетверка. Они словно ждали зеленой ракеты, и все одновременно рванулись назад. Немцы стреляют реже. Наверное, им тоже досталось. Выдохлись. А может быть, это зенитчики и экипаж командирского танка не дают им поднять головы. Машины с ходу переваливают через дорогу, в широкую канаву, круто разворачиваются вдоль шляха. Только теперь, вот сейчас, они становятся недосыгаемыми для снарядов и пуль.

Бегу искать Смыслова и Бубнова. Их нет среди тех, кто перебежал шоссе. Может быть, они выбрались из этого ада вместе с машинами? Но и у первой самоходки их тоже нет. Командир орудия — молоденький лейтенант с белыми тоненькими усиками — стоит, бросив шлем на землю, и вытирает варежкой пот. Рядом с ним механик-водитель стаскивает с себя комбинезон. Оба молчат. Нет, они не видели Юрку и Бубнова.

Бегу к последней машине. Осталась единственная надежда. С трудом перевожу дыхание. Ноги делаются тяжелыми. Они перестают повиноваться. Но это не от усталости, а от тревожного предчувствия непоправимой беды.

Навстречу шагает Грибан. Широким, размашистым шагом. Спросить у него не поворачивается язык. Он ошпаривает меня взглядом, в котором и гнев и боль. Проходит к командирской тридцатьчетверке, которая, отстрелившись, тоже съехала в широкую придорожную канаву.

Вслед за Грибаном ведут лейтенанта-танкиста. Его трудно узнать. От контузии лицо его кривится и дергается. По щеке размазана кровь. Один глаз прикрыт. Другой смотрит безумно и дико. В нем застыли ужас и удивле-

ние. Повиснув на плечах солдат, лейтенант машинально переставляет ноги.

У самоходки сталкиваюсь с Левиным и Шароновым. Сергей пытается улыбнуться, но улыбка у него получается вымученная. Смотрит на меня, часто моргая, и не сразу понимает, о чем я спрашиваю. Оба не могут сказать ничего утешительного: были в машине и не видели ни Смылова, ни Бубнова.

Рядом в окружении солдат сидит на мерзлых отвалах борозд техник-лейтенант Шаповалов. Его шинель на груди и поясе заляпана черноземом. Положив на колени шапку, он о чем-то возбужденно рассказывает.

— А Петю убило. Он танкиста спасти хотел, — говорит, тяжело дыша, Шаповалов. — Из загоревшейся машины танкиста вытаскивал. И осколок ему прямо в плечо. Руку как срезало. Видно, большой был осколок...

Шаронов настойчиво тянет меня за рукав:

— Не ищи. Погиб Бубнов. Садись...

Шаронов садится возле машины и неожиданно говорит:

— Он приглашал меня в Ленинград. После войны. У него в Ленинграде пятеро братьев, сестра и мать...

Шаронов глядит на меня растерянно, словно о чем-то мучительно вспоминает, и произносит задумчиво:

— самого близкого человека я потерял...

Долго молчим. Не хочется ни говорить, ни думать, ни на кого смотреть. На душе какая-то беспросветная пустота. Все становится ненужным и безразличным. Только одно хорошо понимаю и чувствую — что я смертельно устал. Ноги не держат, подкашиваются, и я сажусь с Шароновым рядом. Закрываю глаза...

Нет, никогда в жизни не забуду я своего первого командира взвода, нашего доброго и сердечного «лейтенанта первого ранга».

Всего две недели назад он спас меня от неминуемой гибели. Когда мы заехали на машине к немцам, он при-

казал мне и водителю бежать, а сам задержался и дал по гитлеровцам несколько очередей. Этого было достаточно, чтобы мы скрылись. Он всегда старался сделать солдатам хорошее. Не помню, чтобы он кого-нибудь отругал.

«Перед рассветом сменим саперов. Пусть лейтенанта похоронят свои» — откуда-то всплыла фраза. Это его слова. Это он говорил. А кто похоронит его самого?..

Из оцепенения меня выводит Шаронов:

— Смотри, кто идет!

Поворачиваюсь и не верю глазам. К нам подходит Смыслов — целый и невредимый. Вскрываю. Хватаю его за плечи. Он растерянно тычется мне в лицо — точно так же, как перед боем. От него пахнет паленым.

— Волосы подпалило малость, — Юрка болезненно морщится. Он садится, снимает шапку, ощупывает висок грязной ладонью.

— Юра... Петр Семенович... Лейтенант Бубнов погиб.

— Ты что, очумел?! — Юрка глядит на меня как оглушенный. По-моему, не сразу дошел до него смысл услышанного.

— Где? — наконец выдавливает он несвоим голосом.

— Там. У машин...

Отправляемся со Смысловым и Шаповаловым к машине комбата — там будем дожидаться распоряжений Грибана. Только теперь, на ходу, Юрка немного отошел и разговорился. Он подробно рассказывает, что происходило во время боя возле машин.

— Немцы ударили с двух сторон, и мы поняли, что за коробками не укрыться. Бубнов приказал мне бежать к дороге, а сам остался с контуженным лейтенантом-танкистом. В это время из Омель-города почему-то стали бить одними болванками. Это нас и спасло. По живой силе болванками только дураки бьют. А если бы у них были в это время осколочные, никто бы не вышел...

Юрка внезапно умолкает: позади раздается приглушенный сдавленный вскрик. Упал Шаповалов. К нему

подбегают двое солдат, помогают подняться и... опускают на землю. Что с ним случилось?! Только что шли вместе. Он немного отстал... Смыслов отталкивает наклонившегося над Шаповаловым танкиста в обгоревшей разорванной куртке. Теперь мы с Юркой силится поднять лейтенанта на ноги. Но он смотрит на нас странным озадаченным взглядом и не реагирует на наши усилия... Мы не сразу понимаем, что он мертв.

— Что же это, а? — Юрка, растерянный и ошеломленный, с побелевшим лицом, наклоняется над телом Шаповалова. — Его убили, да? — спрашивает он срывающимся голосом.

Чувствую, как в горле останавливается соленый ком. Я не в силах двинуться с места.

— Эх, оттуда вышел, а здесь... — произносит над моим ухом танкист. Он снимает шапку и в сердцах ругается, вспоминая и черта, и бога, и Гитлера.

А техник-лейтенант лежит с застывшей улыбкой, словно после всего только что пережитого ему вдруг стало спокойно и хорошо. Шальная пуля, прилетевшая неведомо откуда, попала ему в затылок.

У дороги остаются только бронетранспортер и тридцатьчетверка. На них вывезут убитых и раненых, оставшихся в поле. За ними уже ушли, уползли солдаты. А мы возвращаемся на высоту.

Самоходки подъезжают к своим спротивным гнездам. Одна яма остается пустой. Командир орудия и заряжающий теперь поселятся в блиндаже вместе с нами. Это они вытащили из горящей машины раненого наводчика. Его уже увезли в санбат. Не вернется сюда и механик-водитель, выбравшийся через свой люк и погибший у самой дороги.

Снизу, от леса, к нам приближаются два виллиса. Легкие, юркие, они высоко подпрыгивают на бороздах. Шоферы лихо разворачиваются неподалеку от нас, заглушают моторы. С передней машины к самоходкам направ-

ляется высокий сухощавый военный в серой папаче с красным верхом. За ним на некотором удалении следует группа офицеров, впереди которой шагает полковник в коротком, не достающем до колен полушубке.

— Какой-то генерал... А с ним — командир танковой бригады, — говорит Грибан, поправляя ремень и шапку.

Генерал и полковник подходят ближе.

— Кто здесь старший?

Грибан спрыгивает с машины, вытягивается перед генералом во весь свой рост:

— Командир батареи четырнадцать сорок седьмого самоходного артиллерийского полка старший лейтенант Грибан!

Генерал протягивает ему руку:

— Член Военного совета армии. Как прошла операция?

Комбат сначала медлит с ответом, собирается с мыслями, затем начинает докладывать быстро и четко:

— Огневые точки в Нерубайке подавлены и частично уничтожены. Мы действовали вместе с танкистами двадцать четвертой бригады. Потеряно три танка и одна самоходка. Убито одиннадцать человек. Примерно столько же раненых. Трех пока не нашли.

— Я говорил вам, комбриг, — тихо произносит генерал, обращаясь к полковнику. Голос его дрожит: — Ведь люди, люди погибли. Буду ставить вопрос в Военном совете...

Он осекается, долго, надрывно кашляет.

— Товарищ генерал, — успевает вставить полковник, — эта дорога — стержень будущего наступления всего корпуса. Произвести операцию приказано свыше.

— Все надо делать с умом. Разберемся.

Генерал поворачивается к Грибану:

— Сколько у вас самоходов?

— Осталось три.

— Людей?

— Три экипажа. Укомплектованы полностью.
— Боекомплектов?
— Снаряды одни бронебойные. Осколочные расстреляли.

— Ясно. Данные разведки боем у вас?

— Нет, у помощника начальника разведки бригады.

Стоящий рядом с Грибаном капитан делает шаг к генералу и докладывает данные. Выслушав его, генерал приказывает командиру бригады:

— Распорядитесь, чтобы разведанные были немедленно представлены в штаб корпуса.

И, не протрившись, шагает к машине.

От группы, словно тени, отделяются три фигуры и шагают вслед за ним к виллису. Оставшиеся молча смотрят им вслед. Из-за самоходки появляется высокий сухощавый майор.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться?

— Что еще?

— Разрешите передать второй батальон в распоряжение подполковника Репина?

— Приказываю передать батальон Сухову. О Репине забудьте. Сухов здесь?

— Я, товарищ полковник!

— Принимайте командование!

— Слушаюсь, товарищ полковник!

— Яманидзе здесь?

— Так точно, товарищ полковник!

Заложив руки за спину, командир бригады прохаживается взад-вперед перед вытянувшимися офицерами, затем негромко, словно рассуждая с самим собой, начинает отдавать команды:

— Яманидзе... Занять исходные позиции на отметке 197 и ждать приказа. Запомните, по этой дороге в Нерубайку отныне чтобы ни одна мышь не могла проползти. Выполняйте!

— Есть, выполнять!

— Степанов!

— Я слушаю!

— Слева по балке скрытно выйти на подступы к Омель-городу. Сосредоточиться и ждать приказа. Поддерживать Степанова будет Бондарев. Дякину обеспечить артподготовку для подавления огневых точек противника на подступах к Омель-городу и Нерубайке. Исходные позиции занять к четырнадцати ноль-ноль. В шестнадцать ноль-ноль всем быть у меня для уточнения обстановки.

Таст, расплзается группа, окружающая комбрига. И вот с ним остаются только три офицера. Они молча смотрят на полковника, который, сосредоточенно глядя под ноги, все ходит и ходит, о чем-то задумавшись, никого не замечая вокруг.

А к высотке уже подступает рассвет.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ

Кажется, лес раздулся, словно резиновый. И не подумал бы, что он может вобрать в себя столько людей и машин. Танки и самоходки, с треском ломая хрупкие от мороза деревца, пятятся в него задом, и он безропотно принимает их, прикрывает седыми ветвями. Вот заглохли моторы. И теперь из кустов видны лишь темные зрачки орудий, глядящие выжидательно и настороженно. Они будто высматривают, куда стрелять.

Рядом вырнули в чащу санитарные машины с красными крестами на пузатых брезентовых кузовах, студебеккеры с прицепленными к ним дымящимися походными кухнями.

Подпрыгивая на бороздах, как на шпалах, вдоль кромки леса прокатил виллис. Резко развернувшись, он юркнул в узенькую арку, словно для него и созданную кряжистыми дубками-соседями.

Урча из последних сил, тягачи притащили орудия.

Отцепив пушки и оставив их в поле, тягачи долго примеривались к кустам, ерзали перед ними взад и вперед, тыкались в них своими тупыми носами и наконец тоже нашли убежище.

Лес битком набит. А машины все идут и идут. Тридцатьчетверки. Самоходки. «Катюши». Шевроле. Наши горьковские полуторки-газики с минометами на прицепах.

Зажатые в низине склонами трех высоток, деревья будто замерли в тревожном предчувствии и ожидании. Они никогда не видели и, наверное, не увидят такого нашествия. Кое-где с треском рухнули на землю березы, раздавленные танками. Тут и там лежит с корнем вывороченный гусеницами кустарник.

Из лощины, что синее слева в километре от нас, в полдень один за другим начинают выползать танки. Их приземистые темно-зеленые панцири, словно репьями, облеплены пехотинцами. Тридцатьчетверки направляются к нашему левому флангу.

В этом секторе уже занял позиции артиллерийский дивизион. Утром было видно в бинокль, как артиллеристы закапывали пушки в землю, маскировались. И вот рядом с ними ищет пристанища целый танковый полк!

Грибан заметно повеселел. Теперь он все время в окружении командиров машин.

— Комбат всегда радуется, когда жареным начинает пахнуть, — подмечает Юрка.

Теперь никому не хочется забираться в блиндаж. Раз к передовой движется такая сила, значит, действительно надо ждать перемен. Расположившись на ящиках и груды хвороста, заготовленного впрок для обогрева землянки, мы обсуждаем возможные ситуации. Оживляется даже Зуйков. Кохов смиростивился, отпустил его к нам, чтобы «усилить наблюдение за противником», и в последние дни мы курсируем по старому маршруту втроем.

— Надоела эта высотка, как горькая редька. Скорее бы в наступление, — говорит Зуйков с тихой довольной

улыбкой, которая так редко появляется на его потемневшем, задубелом лице.

Сейчас он не может скрыть радости, становится разговорчивым, и из его слов не трудно понять, что не такой уж он «малограмотный», каким кажется с первого взгляда. Зуйков неплохо разбирается в обстановке. Оказывается, он уже давно понимал, в каком пиковом положении находились мы здесь, на высотке. Раньше об этом молчал. А сейчас, когда с одного фланга окончательно миновала опасность, а со второго немцы полезть уже не рискнут, сержант заговорил по-другому.

— А ведь мы тут чудом каким-то держались. Хоть слева, хоть справа, хоть сзади нас голыми руками можно было взять. Вон с той горы спуститься бы одному «тигру» — и все... Грибану его не достать бы. Наши «плевательницы» с «тигром» метров за девятьсот только могут драться. А он и за полтора километра батарею разделяет под орех...

Зуйков говорит не спеша, размеренно, изредка поглядывая на окружающих, словно оценивая впечатление от своих слов.

— Точно, — повторяет он свою мысль. — Я только этого и боялся. А теперь у немцев кишка тонка...

Зуйков хочет что-то добавить, но, повернувшись назад, осекается на полуслове:

— Смотрите!..

Из балки прямо к нам поднимаются полковник Демин, майор Усатый и капитан Петров. Командир полка, будто саженью, отмеривает каждый шаг длинной и плоской клюшкой, которая отливает на солнце золотистым блеском, как хорошо закопченная рыбина. И он, и замполит, и начальник штаба в новеньких зеленых шинелях, с новыми, еще не успевшими смяться погонами. Чистенькие и подтянутые, они предстают перед нами словно люди из другого мира. Их появление оказалось столь неожиданным, что даже у Юрки расширяются от изумления глаза.

Однако он быстро берет себя в руки. Когда офицеры подходят вплотную, он вытягивается по стойке «смирно», вскидывает автомат «на караул» и докладывает, с преувеличенным старанием выговаривая слова:

— Товарищ полковник! Часовой на посту старший сержант Смыслов. На высоте спокойно!

Кивнув в ответ, Демин приподнимает очки и оглядывает «часового» так, словно принохивается к нему.

— Что это вы тут охраняете?

— Командный пункт батареи. Вот этот блиндаж!

Командир полка поворачивается ко мне, и я чувствую, каждой клеточкой ощущаю, как съеживаюсь под его буравящим взглядом.

— А вы кого охраняете?

Но Юрка успел подумать и обо мне:

— Он ведет наблюдение за дорогой Омель-город — Нерубайка. Считает машины противника.

— Понятно, — мрачно говорит Демин. — А почему неумытые?

— Нечем умыться, товарищ полковник. Мыла нам не привозят. — Юрка пожимает плечами. — Воды тоже нет. Раньше снег был. Сейчас подморозило. А льдом не умоешься. Кожу сдирает, как рашпилем.

— Помпохоз приезжал к вам?

— Один раз. Ночью. Но воды и мыла не привозил. Он, наверное, боится к нам ездить. Там, где вы шли, лейтенанту Гальперину прострелили портфель с деньгами и двух саперов ранили. Там всегда обстреливают. Правда, воду перевозить немцы, может, и разрешат...

— Ну, понесло, — с добродушной улыбкой останавливает Юрку Петров. — Смыслов на любую тему может лекцию прочитать, товарищ полковник. Особенно о воде.

Он кивает мне:

— Позовите Грибана.

Но комбат уже увидел начальство и торопится к нам.

Полковник устало опускается на ящик, достает из

планшетки испещренную синими и красными стрелами карту, кивком приглашает Усатого, Петрова и Грибана.

Докладывая обстановку, старший лейтенант долго водит пальцем по карте. Он начинает говорить о результатах разведки боем, но Демин прерывает его:

— Нерубайку приказано взять танкистам. Они разберутся сами. Доложите об Омель-городе.

Грибан вынимает из планшетки листок бумаги, протягивает его полковнику.

— Вот их огневая система. Отмечены все дзоты.

— Хорошо. Сумеете показать на местности?

— Конечно. А на этой карте минные поля, установленные саперами. — Грибан протягивает полковнику вторую карту и показывает в сторону лощины левее Омель-города: — Там километрах в трех сосредоточиваются немецкие танки.

— Тоже зашевелились. — Демин усмехается, глядя в карту. — Поздно они спохватились. Не волнуйтесь, товарищ Грибан. Кончилась ваша осада. Вы свое дело сделали.

Опершись на клюшку, полковник встает. Вслед за ним тотчас поднимаются остальные. Он шагает около ящиков взад-вперед и в такт шагам неторопливо, размеренно роняет слова:

— Теперь у нас другая задача. Прорвать оборону. Развить наступление и выйти на подступы к Кировограду. Один из прорывов будет осуществлен здесь.

Грибан не может сдержать улыбки. Лицо его словно освещается внутренним светом. Мигом куда-то исчезают морщины — следы невероятной усталости. Он весь подается вперед.

В разговор вступает Петров. Он говорит, что приказа о наступлении можно ожидать с часу на час. И начнется оно не только здесь, но и по всему фронту.

— Я и сам не поверил сразу, что подходит такая

сила. Если бы вы посмотрели! Танки и самоходки прямо с Челябинского завода. Свеженькие.

Полковник снимает очки, и я впервые вижу его глаза — синеватые, полуприкрытые морщинистыми, дряблыми веками. Лицо командира полка становится почти добрым: вместе с очками исчезает суровость, которая многих приводит в трепет. Как могут очки изменить человека!

— Моя жена на этом самом танковом заводе работает, — неожиданно произносит он, обращаясь к Петрову. — И живет она с ребятишками недалеко от завода, на Мгильневской улице.

— Чуть не на Могильневской, — добавляет он и, словно удивившись неуместной, случайно вырвавшейся, не получившейся шутке, сразу мрачнеет.

Полковник умолкает, задумывается. А его слова о семье в один миг переносят меня на далекую станцию, что у самой границы Горьковской области с Чувашией. Вспоминаю низенький обшарпанный домик, глядящий своими окнами на белый железнодорожный вокзал. Там, в привокзальном поселке, опоясанном желтыми холмами песка, прошло мое детство. Оттуда мама провожала меня на фронт...

Взрыв снаряда возвращает к действительности. Шагах в тридцати из-под земли взвивается облако серого дыма, похожее на приземистое разлапистое деревце. Успеваю заметить — падает на живот Зуйков. Петров машинально прикрывает рукой висок. С опозданием припадает на колено полковник.

— Товарищи, быстрее в землянку! — умоляюще кричит Грибан.

Полковник надевает очки и, презрительно посмотрев в сторону взрыва, не спеша направляется к ступенькам, спускающимся в блиндаж. Уступив ему дорогу, за ним вплотную шагают Петров, Усатый, Грибан.

Юрка смеется. Его зубы на темном фоне неумытого закопченного лица выглядят ослепительно белыми.

— Слышал, что полковник сказал? До Германии их галопом погоним! Как ворвемся в Германию, уговорю Грибана, чтоб дал мне стрелкнуть по первому дому. Вмажу так, что ни одного кирпича не останется.

Из блиндажа показывается Петров. Зажмурившись на секунду от яркого света, он зовет нас к себе.

— Добрые для вас новости, робинзоны... Рассказал Грибан, как вы тут жили. Решили к медалям вас представить.

Мы молчим, не находя слов. И что тут скажешь... Просто обнять бы Петрова, расцеловать в обе щеки. Да больно он чистый, аккуратный, красивый. А мы загорбленные, грязные, заскорузлые...

Петров косится на Юрку.

— Что не радуешься, Смыслов?

Против обыкновения, Юрка отвечает, сначала подумав. Такое с ним случается редко, обычно он не лезет в карман за словом.

— Чувствую, что душа радуется, товарищ капитан. А к каким медалям?

— «За боевые заслуги». Обоих.

— Значит, есть надежда заслуженными стать? — спрашивает Юрка.

— Надежда есть. А надежды юношей питают...

— А за что нас, товарищ капитан?

— Вам лучше знать. И второе: завтра же в тыл. В Иванковцы. На отдых. Поняли?

Юрка расплывается в улыбке. Он почесывается, преданно смотрит Петрову в глаза и неожиданно спрашивает:

— Неужели в настоящей бане помоемся, товарищ капитан? Просто не верится...

— Кому про что, — Петров шутливо толкает Юрку в плечо. — Понимаю и сочувствую, самому приходилось, — говорит капитан. — И все же неисправим ты, Смыслов, ох неисправим...

А глаза его смеются, лучатся лаской, отеческой доб-

ротой. Пожалуй, и из землянки он вышел только затем, чтобы сообщить нам приятную весть, подбодрить нас теплым, участливым словом. Сколько же душевной щедрости у Петрова! За это, наверное, мы и любим его. За это его любит весь полк. Юрка говорил мне, что его первого решил пригласить в гости после войны. Я тоже записал адрес Петрова: город Калинин. Улица Коминтерна.

По ступенькам блиндажа медленно поднимается Демин.

— Позовите капитана Кохова, — произносит он, не проникаемо посмотрев в нашу сторону.

Юрка поспешно вытягивается, щелкает каблуками и замирает:

— Есть, позвать капитана Кохова! Но... Он не здесь, он в лесу сидит, товарищ полковник.

— В каком лесу? — Демин нервно стучит по планшетке карандашом. — Здесь один лес.

— Не в этом. Он за четыре километра отсюда...

Брови полковника сходятся у переносицы — это признак раздражения. Он хмуро глядит на Петрова, потом кивает в сторону дальнего леса:

— Там?

— Так точно! — бодро чеканит Юрка.

Смыслов поворачивается ко мне:

— Товарищ ефрейтор, немедленно сообщите капитану Кохову, чтобы он явился к командиру полка.

— Катись, катись, — добавляет он вполголоса для меня одного. — Я же на посту, понял?

Растерявшись от такой дерзости, я прикладываю руку к шапке. При командире полка и начальнике штаба не будешь перечить Юрке. Он хоть и выкидывает крендели, но остается командиром моего отделения и я обязан ему подчиняться.

Спускаясь с высоты к лесу, я мысленно отчитываю Юрку словами, которые никогда бы не осмелился произнести вслух. Пусть ему поищется. Ведь он хорошо зна-

ет — после разведки боем я не хочу видеть Кохова. Как выяснилось, детали операции действительно согласовывались с ним — начальником полковой разведки. И сам он обязан был участвовать в ночной вылазке. Это его долг. Но он отсиделся в лесу, а Бубнов и Шаповалов погибли.

Чем ближе к командному пункту саперного батальона, тем больше вокруг перемен. На склоне оврага негде упасть яблоку. Между двумя деревьями отчаянно дымит походная солдатская кухня. Повар в распахнутой телогрейке, приподняв на плечо мешок, высыпает его содержимое в кипящую воду, и «пищомет» тотчас выплевывает из своего чрева клубы пара, которые на мгновение с головой окутывают и повара, и стоящего рядом солдата. Опавнув резиновые колеса, пар уползает по склону оврага вниз и там медленно растворяется, исчезает бесследно. Рядом с кухней, постелив плащ-палатки на мерзлую землю и побросав на них вещмешки, сидят и лежат солдаты. По всему видно — они совсем недавно пришли сюда: еще не успели устроиться поудобнее.

В овраге раскинулись табором минометчики. Из-за серых заиндевевших кустов торчат заткнутые ветошью зеленые стволы. Под кустами в беспорядке разбросаны ящики с минами. Еще дальше, на дне котловины, виднеются пятнистые кузова машин. А вокруг блиндажа уже настоящая толкучка — все запружено грузовиками, повозками, расположившимися на отдых солдатами.

Кохов встречает меня преувеличенно весело — он острит и шутит.

— Вот, товарищ майор, смотрите, как штык явился, а вы говорили «отсутствие дисциплины».

Командир батальона, к которому обращается Кохов, поглядывает на часы и, запустив пальцы в свою седую шею, ворчит, растягивая слова:

— Виноват я. Виноват. Ошибся в твоих подчиненных...

— Ну, докладывай, какие претензии у Грибана?

— Не хватает огурцов, осколочных снарядов...

— А я, между прочим, знаю, что такое огурцы. Ты меня не учи. Смотри, майор, яйца курицу учат. Дает ефрейтор! — И Кохов заливается самодовольным смехом, который меня нисколько не задевает. Вдруг вспоминаю, зачем пришел.

— Товарищ капитан, вас вызывает на высотку командир полка.

Веселость с Кохова слетает мгновенно. Он смотрит на меня с удивлением и настороженностью. И сразу забрасывает вопросами:

— Что же ты молчишь? Как он туда попал?

— Пришел сегодня вместе с майором Усатым и капитаном Петровым.

— Как пришел?!

— Пешком.

— А мне почему не сказали?

— Не знаю...

— Начальство не докладывает, что собирается делать, — улыбается майор и грохочет своим басовитым добродушным хохотком.

На обратном пути Кохов подробно расспрашивает, о чем говорили полковник с Грибаном, что нового произошло за последние сутки на батарее и у саперов, и я охотно, с готовностью отвечаю. Я с удовольствием поддерживаю шутливый тон, на который Кохов переходит снова, и начинаю думать, что капитан не такой уж плохой человек, каким сделало его мое воображение.

Еще никогда не подходил я к высотке в таком приподнятом настроении. Во-первых, я шагаю по этому противному, надоевшему полю последний раз. А во-вторых, к нам пришло подкрепление. Не сегодня-завтра мы обрушим на немцев бронированный кулак и двинемся вперед, на запад. Меня радуют бесконечные следы танков и тягачей, тут и там перечеркнувшие коховскую тропинку. Лесенками распластавшиеся по полю ленты рубленой земли

и снега тянутся к самому подножию нашей высоты. Радуется и необычное оживление, которое царит вокруг: в каждой балочке, в кустарнике, в лесу — всюду копошатся солдаты, стоят машины, разукрашенные бело-серыми маскировочными пятнами.

Командир полка встречает нас холодно. Он ни о чем не спрашивает Кохова. Указывая ему на вершину высоты, Демин приказывает:

— Оборудуйте мне командный пункт. Вон там. Себе сделайте НП в другом месте. Временно возьмите на себя командование взводом управления. Установите постоянное наблюдение за противником и обо всем замеченном докладывайте мне.

Кохов стоит перед полковником, подавшись вперед, преданно заглядывая в глаза, и при каждом удобном случае повторяет «Есть!». Потом он круто поворачивается на каблуках. Поворот у него получается красивый. Так же лихо он делает три первых шага и направляется к окопу, из которого капустным кочаном торчит светло-зеленая ушанка Зуйкова.

Я предчувствую, что будет дальше. Получив приказ от полковника, Кохов то же самое прикажет Смыслову. А Юрка прикажет мне. На передовой все клинья сходятся на ефрейторах и рядовых. И приказ командира полка в конце концов придется выполнять нам с Зуйковым. Именно мы будем рыть щель там, где понравится Кохову. А потом Смыслов торжественно отапортует капитану об успешном выполнении приказа. Полковнику об этом доложит Кохов, как будто он оборудовал НП своими руками. У ефрейтора тут единственное утешение — он тоже может стать капитаном или полковником.

И в самом деле, процедура, которую парисовало мое воображение, починает разыгрываться как по нотам.

К землянке с недовольным видом подходит Зуйков.

— Дорохова и Смылова вызывает Кохов, — говорит он, обращаясь почему-то не к нам, а к капитану Пет-

рову. Но Петров никого не слушает. Он сосредоточенно разглядывает в бинокль виднеющуюся на горизонте деревушку и не обращает на нас никакого внимания.

Вася умоляюще смотрит на Юрку. Приказать ему он не может. Поэтому просит:

— Кохов вызывает. Пойдемте...

— Зачем мы ему понадобились? — хмурится Смыслов.

— Разве не знаешь? Окоп будем рыть.

— Для него? Персональный? Пусть сам себе роет.

Я не пойду. — Юрка подходит вплотную к Зуйкову. — Ты скажи, что нас нет. Не нашел. Испарились мы, понял?

— Это я понял. А окоп мне одному, что ли, рыть?

Доводы у Зуйкова веские. Если мы не пойдем, ему действительно придется всю ночь в одиночку долбить мерзлую землю. Это мы понимаем. И из солидарности с Васей соглашаемся отправиться к Кохову. Но нас останавливает голос Петрова:

— Смыслов, встречай пополнение! Смотри, кто идет...

Оглядываемся и не верим своим глазам. Прямо к нам шагают бойцы нашего взвода. В новеньких шинелях и шапках, чистые, побритые. Они обнимают Юрку, тискают руки мне и Зуйкову. Я радуюсь и смеюсь и в то же время боюсь, как бы они не запачкались о наши грязные, вымазанные глиной и черноземом шинели.

Шуткам и смеху, кажется, не будет конца. Но веселье обрывается сразу, в одно мгновение.

— Где схоронили Петю? — тихо спрашивает Журавлев. Он спрашивает о Бубнове. А что ему можно ответить?!

Юрка виновато и растерянно глядит на замолчавших друзей и вдруг стаскивает с себя шапку, рывком прижимает ее к лицу.

Видимо, расслабился Юрка. Оттаяло его сердце от радости, от встречи с друзьями, от приятных вестей. Оттого, что для нас все кончается, и кончается хорошо.

Правильно говорил капитан Петров: на передовой главное — не расслабляться, в любом деле всегда быть собранным. Это закон фронтовой жизни. А Юрка нарушил этот закон. И плачет. Первый раз вижу на его лице слезы. И мне тоже сдавливает горло. Отворачиваюсь в сторону, и в глазах у меня танцует, подпрыгивает и расплывается приближающаяся фигура Кохова.

РАСПЛАТА

Пожалуй, самое худшее, что может быть на передовой, — лежать в лесу под артиллерийским обстрелом. Грохот разрывов, свист и клекот осколков, треск кустарника, срезанного ударной волной, выматывают душу. Снаряды рвутся в кронах деревьев, и осколки, разбрызгивая щепу, с визгом вгрызаются в землю. Может быть, следующий снаряд разорвется прямо над головой. И тогда пригвоздит тебя кусок стали к мягкой подстилке из перепревших листьев и веток. Так и останешься лежать в вырытой для себя могиле.

Спасение в лесу одно — зарывайся в землю, как крот. Дой себе двухметровую щель — не мельче. Иначе может случиться то, что случилось с Губаревым — ординарцем командира полка. Ефрейтор поленился, вырыл окопчик только до пояса и горько поплатился за свою лень. Ему раздробило колено.

Губарев лежит за машиной и тихо стонет от боли. Неотлучной тенью ходил он всюду за командиром полка. «За спиной полковника, как за горой, всю войну прокаптуется», — говорил о нем Юрка. Пожалуй, впервые Смыслов оказался плохим пророком. Свеженькая лоснящаяся шпатель Губарева, не успевшая пропитаться фронтовыми запахами, намокла, стала бурой от крови. Когда его укладывали на плащ-палатку, он продолжал стонать — надрывно, на одной ноте.

Полковник теперь ходит один. Он не прячется от осколков. К ним он относится, как пасечник к пчелам — не обращает никакого внимания. Сейчас он присел у штабной самоходки и вместе с Петровым колдует над картой, от которой отрывается лишь затем, чтобы хмуро выслушать капитана, когда тот начинает что-то с азартом доказывать.

Сообщение о ранении Губарева полковник выслушивает безучастно.

— Осколок попал в колено. Ногу, наверное, отнимут. Вот здесь он, рядом лежит, — докладывает Смыслов Демину.

Юрка, видимо, думал, что полковник встанет и подойдет к своему ординарцу, которого, может быть, больше никогда не увидит. Я тоже так думал. И тоже ошибся. Демин вскидывает вверх лохматые брови, приказывает немедленно отправить раненых в тыл и опять наклоняется к карте.

Остаюсь у машины. За бронированной машиной спокойнее. Прямое попадание здесь почти невозможно: самоходка стоит в глубокой естественной выемке, за бугром, прижавшись брюхом к замерзшим бороздам. Опасность здесь только одна — если снаряд заденет березку, что взметнулась над самой пушкой. Порядком побитая осколками, она застыла, будто в испуге перед постоянной опасностью. Странно получается: люди ищут у деревьев защиты, прячутся в гущу леса. А там именно они, деревья, приносят верную гибель.

Демин и Петров озабочены. Капитан горячится, что-то пытается доказать. Он говорит отрывисто и напористо. Знаю — если он в чем уверен, то заставит выслушать себя до конца. Полковник переспрашивает его, предлагает снова взглянуть на карту и упорствует на своем. Петров исподлобья поглядывает на разрисованную цветными карандашами «сотку», и на лице его непоколебимая решим-

мость. Кажется, он вот-вот сорвется и наговорит полковнику грубостей.

Мысленно я за Петрова. Правда, как и Демин, он тоже бывает придирчив. Но есть в его обращении с нами какая-то доверительная искренность, которой как раз не хватает командиру полка. Он умеет поговорить на самых высоких нотах и не оставить причин для обиды. Его слова доходят до сердца.

Помню первую встречу с Петровым в день прибытия в полк. Стройный, туго перетянутый широким офицерским ремнем, он вырос передо мной неожиданно. Я не успел даже вскинуть руку к пилотке. Внушение по поводу «неприветствия старшего» я выслушал молча. Мне уже приходилось слышать эти скучные, как хмурый вечер, нотации. Все они похожи одна на другую. Но странно, вместо внутреннего протеста тогда во мне впервые шевельнулось чувство стыда: жесткие слова капитана о недопустимости разгильдяйства звучали у него веско, внушительно.

Капитан водит пальцем по карте и продолжает возражать командиру полка. Я подвигаюсь ближе, и мне становится слышно, о чем они говорят.

— Лучше здесь... Прямо через кустарник... Склон тут отлогий... Выберемся наверняка. И главное, обеспечена внезапность.

Их спор прерывает очередной разрыв дальнобойного снаряда. Это уже не «огурец», а целый «поросенок», как называет тяжелые снаряды Юрка. Снаряд опять ударил в ствол дерева чуть в стороне от наших ребят. Как и все остальные, я инстинктивно отвечаю ему поклон и едва не задаваю виском за стальную гусеницу.

Демин отрывается от карты, встает во весь рост.

— Ладно. Я схожу в штаб бригады. Там посоветуюсь, — говорит он, глядя на облако взрыва, молоком стекающее в серую гущу деревьев.

Полковник оглядывается вокруг, и его роговые очки, словно жерла сорокапятки, останавливаются на мне.

— Пойдемте со мной, товарищ Дорохов.

Опять «товарищ Дорохов». Лучше бы сказал «товарищ ефрейтор»...

Обстрел понемногу стихает. Демин отмеривает тропинку своей широкой полированной клюшкой. Шаги у него саженьи. И сам он сажень. И клюшка тоже саженья. И где он достал эту уникальную трость, похожую на длинную-предлинную копченую селедку? «Привет из Сочи» выжжено на ее сверкающем коричневом боку. Наверное, в Сочи он лежал в госпитале. За войну у него четыре тяжелых ранения. Четыре раза подкарауливала его смерть. Он успел повидать столько, что другому хватило бы на две жизни. После этого пора бы лучше относиться к солдатам. Но почему-то он так и не стал добрее и мягче.

Мы молча спускаемся в балку. Шагаем по самой низинке. Почти с неприязнью смотрю на широкую спину, обтянутую зеленым английским сукном. И надо же было попасться ему на глаза! А теперь уже поздно. Теперь будет, как на веревочке, таскать меня за собой. А захочет, сделает ординарцем вместо Коли Губарева. Предлагаю, как буду скоблить эту перепачканную глиной шпатель, драить бархоткой полковничьи сапоги, и мне делается неловко за самого себя. Ведь рано или поздно об этом узнают мои друзья-одноклассники. Что тогда я скажу им, возвратившись с передовой?!

Полковник явно не в духе. Видимо, Петров его «подзавел». Правда, он всегда чем-нибудь недоволен, но сегодня выглядит еще пасмурнее, чем обычно. Назвав меня товарищем, он больше не проронил ни слова. Чуть пригнув голову, он шагает размеренно, слегка покачиваясь на неровностях тропинки. Порой кажется, что он спит на ходу. Наверное, не выспался. А вернее — устал. Силенок у него остается немного. Уже и клюшка не всегда помогает. Вот и крутой подъем для него проблема.

Нас все плотнее обступают деревья. Лес загустел. Здесь, в низинке, почти безопасно. Тут мертвая зона, недосягаемая для снарядов. И не случайно кусты забиты солдатами. Многие из них роют землю, рубят лопатами корни. Тут и там видны груды свежего чернозема, темнеют провалы: солдаты готовят щели на случай бомбежки.

— Дорохов!

Из окопа, что вплотную с тропинкой, высовывается улыбающаяся физиономия Зуйкова. Он явно рад непредвиденной встрече. Вася успел заменить старенькую шинель. Побрился и выглядит свежим и бодрым. Рядом с ним из соседней щели появляется голова Журавлева.

Полковник останавливается как вкопанный и пристально смотрит на них. Сначала на одного, потом на другого. Он словно старается внимательнее разглядеть их или припомнить фамилии, хотя знает их как облупленных.

— Вы что тут делаете? — спрашивает Демин после затянувшейся паузы и сразу повышает голос. — Я вас спрашиваю, товарищ Зуйков, что вы здесь делаете?

— Мы с капитаном Коховым, товарищ полковник, — Зуйков вытягивается в полный рост. Он смотрит в нашу сторону виновато и с опаской косится на соседнюю щель.

Демин снимает очки, протирает их пальцами и медленно водружает обратно — на свой мясистый с красными прожилками нос.

— Я приказал Кохову вести наблюдение за противником.

Кажется, полковник разговаривает с самим собой, а не с вытянувшимися перед ним солдатами. Но в голосе его отчетливо проскальзывают металлические потки.

— Где капитан? — Это сказано уже совсем другим тоном — с иронией. На лице Демина появляется мрачная усмешка, какой я раньше не замечал. Не дожидаясь ответа, он сходит с тропинки, огибают чахлые кустики и, оперевшись на клюшку, в изумлении застывает у края

глубокой четырехугольной ямы. Осторожно выглядываю из-за его спины. Внизу на подстилке из веток лежит капитан Кохов. Сложив руки на груди, он смотрит на командира полка остекленевшими глазами покойника, и по лицу его разливается меловая бледность.

«Картина, достойная кисти Репина», — съязвил бы Смыслов, будь он свидетелем этой немой сцены... А Кохов все лежит и молчит. Он даже не шевелится. Как будто у него парализовало и язык, и конечности. Вот так же, наверное, кролик чувствует себя под взглядом удава — я видел в кино, как удав парализует зайца одними глазами.

Молчание становится тягостным. Наконец припухшие губы Кохова едва заметно вздрагивают, глаза начинают моргать.

— Пойдем, товарищ Дорохов! — Демин круто поворачивается и идет в обратную сторону.

— Всем следовать за мной, — бросает он властно и жестко возле выбирающегося на тропинку Зуйкова.

Мы двигаемся гуськом. Впереди могучая фигура полковника. Следом я в своей измызанной шинелишке с автоматом наперевес — на передовой именно так сопровождают высокое начальство. За мной — одетые с иголочки, приободрившиеся и излишне веселые разведчики и радисты. А сзади — хмурый, осунувшийся Кохов. Руки его опущены вниз, как плети. Капитан идет, уткнув глаза в землю, словно что-то потерял и еще надеется отыскать.

Я бы многое сейчас сказал Кохову, не будь он моим начальником. И в первую очередь сказал бы ему, что «на фронте надо действовать воедино», а не прятаться. Я бы напомнил ему, что «у каждого есть своя высота», которая «может стать пиком всей жизни»...

Впереди в кустах показалась наша штабная машина, возле которой стоит Петров. Начальник штаба смотрит на нас с любопытством и ожиданием. По его взгляду заметно — он уже почувствовал что-то недоброе. Подойдя

к самоходке, полковник оглядывается, упирается в меня взглядом. «И почему я все время оказываюсь у него на глазах?»

— Товарищ Дорохов, дайте листок бумаги.

Торопливо расстегиваю сумку, поспешно вырываю из блокнота листок.

— Дайте и сумку, — полковник протягивает руку к моей «кирзушке». Он достает карандаш, нагибается к стальному крылу самоходки, нависшему над блестящими траками, и начинает старательно выводить буквы и фразы. Я поддерживаю сумку, чтобы она не сползла. Стараюсь не смотреть на бумагу. Но любопытство сильнее моих стараний. Крупный, довольно красивый почерк полковника помимо воли приковывает взгляд.

«Начальнику штаба 5 зв. Зимовниковского мех. корпуса...» — медленно-медленно выводит Демин каждую букву. Кончик карандаша хищно замирает над беззащитным листочком, потом, остро клюнув его, снова ползет по бумаге:

«Направляю в Ваше распоряжение зв. капитана Кохова, как струсившего в бою...»

Сердце мое замирает от радости. Ребята еще не знают, что с Коховым кончено... «Сосунки!» — обзывал он нас. Теперь каждый имеет право назвать его трусом. Пусть за трусость его разжалуют. Отдадут под трибунал. Мысленно я уже посадил Кохова на скамью подсудимых. Осталось вынести приговор. Но раньше меня его вынесит жало карандаша:

«Целесообразно использовать командиром стрелкового взвода...»

Демин размашисто расписывается, складывает бумажку вчетверо, решительным жестом зовет к себе Кохова.

— Сегодня же явитесь к начальнику штаба корпуса. Это передайте ему. Выполняйте!

Мне никогда не забыть Кохова с вещевым мешком за плечами. Сгорбившегося, свикшего, потускневшего. Когда

он проходит рядом, съежившись под нашими взглядами, ничто не напоминает в нем braveго капитана. Он идет ссутулившись, опустив глаза, не смея ни на кого посмотреть. Все ближе, ближе к кустам.

— Все же старик его раскусил, — задумчиво говорит Петров. — Правильно. Ничего не скажешь.

Обращаясь неизвестно к кому, капитан повторяет:

— Быстро, быстро его старик раскусил. — И улыбается, обнажая свои красивые ровные зубы.

Вот и испекся наш Кохов. Не получился из него генерал артиллерии. Он навсегда покидает полк и отправляется в стрелковую часть, где будет командовать взводом, если, конечно, ему доверят. Интересно, о чем он думает, шаря глазами по узенькой тропке. Может, о том, что самое позорное для любого военного — быть изгнанным из своей части, из коллектива...

— Вшивый человечешко, — почесываясь, произносит Юрка.

А Кохов подходит к лесу. Не оглядываясь, спускается вниз, в балку. Его фигура показывается на изгибе тропинки в последний раз. И кусты, разлапистые и цепкие, отгораживают его от нас сплошной непроницаемой завесой.

АТАКА

Петров вызывает всех разведчиков, телефонистов и радистов нашего взвода. В ожидании, когда все соберутся, молчит и хмурится.

— Кто оборудовал КП для командира полка? — строго спрашивает начальник штаба, когда мы выстраиваемся в шеренгу.

— Мы делали, — робко докладывает Зуйков. — По указанию товарища капитана Кохова делали.

— А ну пойдете со мной! Напра-во!..

Окопчик находится метрах в ста от березки, под которой нашла приют штабная самоходка. Мы останавливаемся над ним, как над могилой.

— Смыслов, проверь обзор местности, — приказывает капитан.

Юрка спрыгивает в окоп, вертит головой в разные стороны, пожимает плечами.

— Окоп отличный, товарищ капитан! Сработан добротно. Только... Обзор маловат, товарищ капитан. Дальше пока не видно. Честно.

Петров поворачивается к нам:

— Немедленно берите лопаты и оборудуйте КП вон там — на самой верхушке. Старшим назначаю Смыслова. В вашем распоряжении один час.

Приказ начальника штаба мы выполняем сверхоперативно. На самом гребешке высоты находим готовенькую щель. Вся низинка, отделяющая нас от вражеской высоты, отсюда как на тарелочке. Просматривается и дорога между деревушками, и лощинка, начинающаяся неподалеку слева и уходящая к лесу. Лучшего места для КП не сыскать!

Прикинув размеры окопа, Юрка удовлетворенно потирает руки:

— Петрову и Демину места хватит. А если они пожмутся, и я уместюсь. Разрешите доложить, КП оборудован досрочно и готов к приему начальства!

Он вылезает на бруствер и дает указания:

— Дорохов, останься здесь. Сиди и карауль, чтоб никто не занял командный пункт. Учти, на готовенькое здесь много охотников. В общем, держи бинокль, и привет. Мы пошли докладывать Петрову. — Довольный собой, Юрка по-гусиному вразвалочку шагает впереди всех назад к штабной самоходке.

Остаюсь в одиночестве на самой верхней точке холма. Осматриваюсь вокруг. Пейзаж знакомый. Здесь рядом должны быть окопы саперов. Впереди горбатится притих-

шая вражеская высотка. По ее верхнему срезу, словно вышитая на белом полотнище черными нитками, тянется извилистая линия окопов и укреплений. Ветер оголил от снега бугорки дзотов, и на темной тесемке траншей они выглядят узелками.

Навожу стекла бинокля на Нерубайку. Невозможно ничего разглядеть. Уцелевшие хаты словно в тумане. Похоже, что их заслоняет белесый дым, стелющийся по земле. Зато отлично просматривается Омель-город. В селе различимы даже фигурки солдат, спующих по улице. А вражеские окопы и вовсе рядом.

Сзади один за другим гулко и раскатисто ухают выстрелы тяжелых дальнбойных орудий. Кажется, пачинается артиллерийская подготовка. Но нет, опять становится тихо. И вдруг что-то толкает землю из глубины. Через высотку прямо над моей головой с глухим шуршанием летят снаряды. С каждой секундой гул орудийных залпов становится громче, грознее.

Слева из леса выползают тридцатьчетверки и самоходки. Узнаю знакомую «коробку» Левина — по серым пятнышкам на ее испещренном отметинами, исцарапанном теле, по отколотому болванкой уголку башни, по большой подпалине на правом борту, оставшейся после разведки боем. Машина комбата с ходу взлетает на гребень высотки. Слово привязанная к ней невидимой нитью, справа выскакивает на пик новенькая темно-зеленая тридцатьчетверка. А чуть сзади, стараясь не отставать, несутся остальные самоходки и танки. Они покачиваются на бороздах и наполняют воздух железным стрекотом и уробным медвежьим ревом моторов.

— Давай, Грибан!.. Вперед, Серега! — кричу, поддаваясь необъяснимому порыву нахлынувшей радости.

Справа, словно из-под земли, вылезают из окопов саперы. Они бросаются вслед за танками. Многие из них еле передвигают ноги. Но они бегут и бегут вперед. Усталость не доконала их! Не взяла!

Держа автоматы наперевес, как винтовки, мимо меня бегут пехотинцы...

«Ур-ра-а!» — гремит над ожившей высоткой, и этот раскатистый людской рев заглушает рокот моторов. Снова смотрю в бинокль. Близко, — кажется, прямо перед глазами — выскакивают из окопов немцы. Пригибаясь к самой земле, они драпают за спасительный бугорок, бегут, пелепо размахивая руками.

У меня такое чувство, будто я сам среди атакующих, словно не от кого-нибудь, а от меня бежит этот белобрысый детина, потерявший шапку, прихрамывающий на левую ногу. Он то и дело оглядывается. Одной рукой держится за бедро, в другой у него автомат. Я поймал его в перекрестие бинокля, словно в прицел. Сейчас бы снайперскую винтовку!..

— Вылезайте, товарищ ефрейтор!

Сзади на коленях стоит Смыслов и делает ладошкой выразительный жест, призывающий поторопиться. За его спиной Демин, Петров, Усатый. Поспешно выскакиваю наверх. Но хватит ли небольшого окопчика для троих, из которых двое «крупногабаритные», как называет Юрка Демина и Усатого. И вообще нам могут дать нахлобучку: ведь на замполита мы не рассчитывали — откуда нам было знать, что он заявится на КП.

Петров легко спрыгивает вниз и с нетерпением следит за полковником. Согнувшись пополам, Демин сначала упирается клюшкой в дно и, лишь нащупав точку опоры, осторожно опускает вниз одну ногу. Мимо с фырканьем, обдавая холодным дуновением, проносится тяжелый снаряд. Юрка стремительно припадает к брустверу. Он делает поклон инстинктивно, но на этот раз реакция у него запоздалая. «Поросенок» уже безопасен. Того, кто слышит его «хрюканье», он не может убить, он уже пролетел мимо, и поэтому совсем не обязательно кланяться ему вдогонку. Об этом, наверное, подумал сейчас и Петров, пристально взглянувший на Юрку, переломившегося

в поклоне. В глазах капитана вспыхивают лукавые искорки.

— Не маячьте! — приказывает нам Петров.

Мы ложимся позади окопа на середине тропинки, протоптанной сюда от леса солдатскими сапогами. Самоходки и танки уже миновали гребень и скрылись в балке. Неподалеку от нас вспыхнула тридцатьчетверка, но и она, выбрасывая клубы черного дыма, ушла вперед, за бугор. И только одна из самоходов осталась на самой вершине. Вскинув пушку вверх, она сначала замедлила ход, затем замерла, словно в удивлении загляделась темным зрачком орудия в синее небо.

— Чья машина? — спрашивает Демин, не поворачивая головы.

— Из батареи Грибана, — резко бросает Петров.

— Что с ней?

«Кого он спрашивает? Меня или капитана? И вообще, почему он спрашивает? Откуда нам знать, что стряслось с самоходкой».

— Смыслов, живо к штабной машине. Свяжитесь с подбитой самоходкой, — приказывает Демин.

Юрка исчезает в балке и через несколько минут возвращается.

— Рация Грибана не отвечает.

Полковник повышает голос:

— Где помпотех батареи?

Он оглядывается, смотрит на меня в упор холодным колючим взглядом и, кажется, вот-вот закипит от гнева.

«А при чем тут я? Почему он так смотрит?»

И снова вовремя вмешивается Петров:

— Товарищ полковник, у Грибана нет помпотеха. Шаповалов погиб. Заменить не успели.

— Вызвать арттехника!

Повернув ко мне голову, Петров бросает через плечо:

— Слышал?!

— Есть, вызвать арттехника!

Словно воздушной волной, за какую-то долю секунды сдувает меня с тропинки и несет назад к штабной самоходке.

Артиллерийский техник четвертой батареи Иван Кравчук. Я его узнаю за три версты. Только бы не залез в кусты, не спрятался во время обстрела.

Подбегаю к машине и сразу замечаю его среди солдат, пристроившихся на плащ-палатке под выхлопными трубами самоходки. Старшина сидит, прижавшись спиной к броне, и старательно протирает шомполом-коротышкой ствол трофейного парабеллума.

— Бегом к полковнику!

— Куда? — Кравчук удивленно вскидывает брови.

— Туда...

Через минуту мы вместе подбегаем к командному пункту. Кравчук с разбегу садится на край окопа. Он свешивает ноги в щель и пригибает голову. Я занимаю свое прежнее место.

За бруствером как на ладони открывается панорама боя. Изъеденное минами и снарядами поле. На нем рубчатые гусеничные следы. Они напоминают лестницы для спуска вниз, в ложбинку. Серыми кочками лежат на снегу убитые. Их захоронят здесь, где-нибудь рядом с этим окопом. Захоронят в братской могиле со всеми почестями. А потом полковой топограф срисует с карты нашу высотку, поставит на месте могилы крестик и отправит «сколок» вверх по инстанции. И во все концы пойдут похоронки с указанием места могилы сына, мужа, отца или брата.

Слева метрах в пятидесяти с криканьем и присвистом один за другим разрываются два снаряда. Снова начинают посвистывать пули.

— Что случилось с машиной? — повторяет вопрос полковник, мельком глянув на Кравчука.

Вытянув шею, старшина напряженно и виновато смотрит туда, где, не подавая признаков жизни, стоит само-

ходка с задраным кверху стволом. Кажется, что она застыла, оцепенела в растерянности — стрелять или нет?

— Разрешите выяснить, товарищ полковник, — торопливо начинает Кравчук, но не успевает получить ответ.

Тяжело охнув, дергается и опрокидывается земля. Демин, Петров и Усатый проваливаются в окоп. На них летит Кравчук.

«Неужели прямое...» — успеваю подумать, ощущая всем телом, как меня кто-то приподнимает за грудь, за живот, за голову и уже в воздухе разворачивает боком к окопу. Очнувшись, различаю лицо Петрова. Сначала оно двоится, потом задерживается молочной завесой, куда-то уплывает.

...«Изображение» восстанавливается сразу, в одно мгновение. Петров снял шапку и не спеша отряхивает с нее перемешанную со снегом землю. Потом он хлопает ладонями по перепачканным рукавам шинели.

Прижавшись боком к стенке окопа, старшина глядит на капитана тревожным выжидательным взглядом. Его шапка валяется рядом на бруствере. На воротнике и старшинских погонах земля. И лицо у Кравчука тоже землистое. Он выпрямляется, ударяет шапкой по колену и, нахлобувив треух на лоб, снова озабоченно поглядывает на Петрова.

— Вас, кажется, задело, товарищ капитан.

Петров быстро ощупывает грудь, поправляет ремеш, трогает руками лицо.

— Нет. Все в норме.

Капитан оглядывается на полковника, потом на меня. Глядит вопросительно, словно спрашивает глазами: «Все в порядке или?..»

— Разрешите пойти к машине, товарищ полковник? — снова спрашивает в наступившей тишине Кравчук.

— Да, да! Немедленно!

Старшина поднимается, и сразу становится слышен предостерегающий свист пуль, пронесшихся рядом. Крав-

чук перепрыгивает щель, по-бычьему пригибает к груди голову и, слегка наклонившись, бегом устремляется к самоходке. Но пробежать ему удастся всего с десятков шагов. Он неожиданно разворачивается боком вперед, ноги его заплетаются одна за другую. Взмахнув руками, старшина неуклюже и неловко падает на спину.

— Дорохов!

Не успеваю разобрать, кто меня окликает. Скорее Петров, потому что нет деминской приставки «товарищ». Но думать об этом некогда. Вскикиваю, в несколько прыжков оказываюсь возле Кравчука. Падаю с ним рядом. Заглядываю ему в лицо. Взгляд у него виноватый. Но на лице ни тени растерянности или испуга.

— В бок ударило... Посмотри...

Побелевшими непослушными губами старшина едва выговаривает слова. Он отнимает руку от левого бока. Вся она красная. Кравчук бессмысленными глазами в упор разглядывает окровавленную ладонь и, словно только сейчас осознав, что с ним произошло, судорожно вздрагивает всем телом.

— Двигаться можешь? Надо назад ползти.

Кравчук поднимает глаза, тоскливо смотрит вперед, на самоходку.

— А машина как же?

— Какая тебе машина! Давай берись за шею...

— Подожди. — Кравчук переворачивается на правый локоть. На боку из-под разорванного сукна шинели торчат рыжие и красные хлопья ваты.

Вот она, его отметина — третья в этой войне. У него уже были ранения — в ногу и в голову.

— Подожди, — повторяет Кравчук. — Дай полежу... Потом сам поползу. Вот увидишь... А ты не приподнимайся. А то и тебя стукнут... Полежи чуток рядом.

Отдохнув, он и в самом деле начинает ползти. Не отнимая от левого бока ладонь, которой зажимает рану, он приподнимает над землей свое гибкое тело и, отталкиваясь

ногами и правой рукой, каждый раз делает небольшой рывок вперед. Я пытаюсь поддерживать его, но из этого ничего не выходит. Чувствую, что только мешаю. Упираюсь руками в подошвы его сапог, чтобы они не скользили по обледеневшим кочкам, и ползу вслед за ним по-пластунски, как нас учили в радиошколе.

Когда мы минуем командный пункт, старшину подхватывают на руки прибежавшие от штабной самоходки разведчики. Опасливо пригибаясь, они чуть не бегом направляются к лесу.

А я возвращаюсь на свое место около КП. Атака, видимо, захлебнулась. Ни один танк, ни одна самоходка не поднялись из балки к окопам немцев. Наверное, парвались на минное поле и сгрудились перед ним, дожидаясь, когда саперы расчистят путь. Там, в мертвой зоне, ждать можно спокойно. Там хоть ближе к противнику, а куда безопаснее, чем здесь, на голой вершине, которую видно за пять километров.

Черт знает, откуда стреляют немцы. Стоит чуть приподняться — и сразу становишься их мишенью. Пули прошивают воздух у самого уха, впиваются в мерзлые отвалы борозд, взбивают на бруствере серые земляные фонтанчики. Но Петров и Демин стоят, высунувшись из окопа по грудь. Полковнику щель мелковата, а пригнуться ему тяжело. Конечно, все это может печально кончиться. И все же его поведение мне нравится. «Глядите, ничего страшного нет», — говорит весь его вид. И оттого становится веселее.

— Товарищ Дорохов, видите эту машину? — не поворачиваясь, спрашивает Демин.

Что за вопрос? Ну конечно вижу. И знаю — самоходка мозолит ему глаза. Она и только она занимает сейчас все его мысли.

— Так точно, вижу, товарищ полковник!

— Сходите и узнайте, что с ней.

— Есть, сходить и узнать! Разрешите идти?

— Идите.

Поднимаюсь в рост. Перешагиваю через бруствер.

«Сходите и узнайте». Легко сказать. Словно речь идет о самом обыденном: «Сходите и узнайте, как здоровье бабушки». «Сходите и узнайте, какое сегодня кино...» Таким же вот тоном произнес полковник свое приказание. А мог сказать и другое: «Иди-ка, милейший, побегай рядом со смертью. Посмотри, понюхай, какая она». Это было бы точнее.

«Идите!..» А я уже не иду, а бегу. Бегу что есть мочи. Я не бегу, а лечу. Вообще я неплохо бегал, когда играл в районной футбольной команде. Но на передовой бегают по-другому. Побежишь, если пули свистят у самого уха, если холодный ветер от них подталкивает тебя в спину, придает твоим ногам необыкновенную легкость и живость.

Бегу, почти физически ощущая на себе взгляды Петрова, Демина и Усатого. Они, конечно же, наблюдают за мной. Смотрят и переговариваются. Наверное, они говорят обо мне...

Бегу... Самоходка по-прежнему не подает никаких признаков жизни. С каждой секундой я все ближе к ней. Но и пули все гуще. Только бы добежать, спрятаться за стальную броню. Она вот, уже рядом. Еще двадцать, пятнадцать, десять прыжков.

— Назад!..

Это кричат из окопа, который я собираюсь перепрыгнуть с разбега. Оттуда кто-то высовывается, машет рукой. Мелькают старшинские погоны.

«Левин! Серега!»

Проваливаюсь в окоп. Сергей хватает меня за плечи своими сильными узловатыми ручищами.

— С ума спятил! Куда под пули?!

На его правом виске расплывчатая ржавая подпалина. В белых Сережкиных волосах она сразу бросается в

глаза. Нельзя ее не заметить — огненно-рыжую, с закурившимися кончиками белых льняных волос.

— Нельзя дальше — убьют, — уже спокойнее растолковывает Левин. — Ну что ты уставился? Укокошат в два счета. Как даст — и конец. Понял? — Старшина глядит на меня с невозмутимым спокойствием.

— Волосы у тебя обгорели.

Этого он не ждал. Искренне удивившись, Левин трогает ладонью опаленное место.

— Вроде не особенно больно. А фасад в норме?

— На лице ничего нет.

— Ну и ладно. Только щеку немножко жжет...

— Это твоя машина?

— Яковенко. Его Грибан пересадил к нам.

— А меня полковник послал узнать, почему встали на самой верхушке?

— Почему! — Левин невесело усмехается. — Болванку словили... Шаронова насмерть.

И сразу голос его становится глуше.

— Яковенко и Егор ранены. Вот он — Егорка.

Только сейчас замечаю лежащего в окопе Егорова. Лицо его неумело забинтовано от волос до самого подбородка. На бинтах и руках кровавые пятна.

— Глаз ему выбило, — хмурится Левин, снова потирая ладонью опаленные волосы.

— Совсем?

— Совсем. Левый.

— А где Яковенко?

— В машине. Мне приказал выносить Егорку, а сам остался. И Шаронов там...

Левин умолкает, садится на дно окопа в погах у Егорки, прямо на грязное крошево из глины и снега.

— Человек был Шаронов! Человек, каких поискать... Вот такие они, дела... — Левин не поворачивает ко мне головы. Кажется, он разговаривает не со мной, а с кем-то другим, незримо присутствующим здесь.

Начиная стонать Егоров:

— Ой мама!.. Мамочка рѳдная...

Он шарит руками по стенке окопа, по пропитанным кровью бинтам, размазывая по ним рыжеватые горошинки глины. Повернувшись на бок, Егорка тянется рукой к Левипу, хватает его за колено и выдавливает из-под бинтов просительно-жалобным тоном:

— Сереж, ты правду скажи... Скажи. Не надо обманывать...

— Ну зачем мне обманывать? Какой интерес?! — Левип легонько, успокаивающе гладит его по плечу. — Я сказал тебе, правый целый. Честно.

Он говорит грубовато для такой обстановки. И в то же время просто, проникающим в душу голосом, каким говорят искренне и только правду.

— Вечером в медсанбат отправлю. Там перевяжут. И все хорошо будет. Подлечишься, домой поедешь. Тебе повезло. А ты панику па всю передовую развел...

Егорка умолкает. Видимо, немножко успокаивается. Лихорадочно ощупав бинты, он снова ложится на спину. Левип поворачивается ко мне:

— Ты с нами останешься?

— Нет. В машину пойду. Полковнику надо подробно-сти доложить. Поговорить с Яковенко надо. Потом обратно.

— В коробке нечего делать. Я тебе все рассказал. Подстрелят как зайца.

— Не успеют. Я в три секунды...

— Подожди. Я сам. Лейтенанта надо уговорить, чтобы вылез. А может, помочь ему надо. Сгорит ведь...

Но я уже выбрал углубление в стенке окопа. Ставлю в него левую ногу — для толчка. Самое главное, оттолкнуться резче, сильнее и сразу же взять разбег...

— Один пулемет откуда-то бьет. Один-единственный, — ворчит старшина. — А головы не поднять. А под пули лезть глупо. Ты что дуришь?! Назад, тебе говорят!

Но я уже выскочил из окопа и набираю скорость, чтобы с разбегу вскочить на машину. Рывок вперед — вверх. Нога твердо стоит на броне. Только бы не соскользнула! Нет, все нормально. Прямо передо мной распахнутый люк. Несколько пуль ударяются в стальную броню и, разноголосно взвизгнув, рикошетом отскакивают прочь.

«Ага, схватились!»

Нырять в люк. Вниз головой. Не сломать бы ребра об орудийный замок. Надо крепче схватиться за край брони. Успеть перевернуться ногами вниз. Есть! Но пальцы соскальзывают. И, сжавшись в ожидании удара, срываюсь в люк. Падаю на что-то мягкое и сырое. Прямо подо мной рядом с откатом орудия лежит на спине Шаронов. Его черная танковая кирзушка на животе и груди изрешечена осколками. В больших и маленьких рваных отверстиях сгустки застывшей крови. И только на лице ни кровинки. Оно уже подернулось мертвенной бледностью, которая еще отчетливее выделила густые темные брови.

С места механика-водителя на меня безучастно глядит командир орудия Яковенко. Левая рука лейтенанта от плеча до локтя обмотана бинтами и привязана ремнем к шее. Правая — на рычаге.

Внезапность моего появления его нисколько не удивляет. Он понимает меня с полуслова.

— Вот посмотри.

Внизу перед креслом водителя, там, где сидел Шаронов, рядом с нижним срезом брони зияет дыра, в которую свободно пролезает рука.

— Видишь, что получилось...

Он поворачивается к Шаронову, хмуро смотрит на труп.

— И рычаги заклинило. Только первая передняя скорость осталась. Будто насмех.

Яковенко говорит, что ехать вперед с черепашной скоростью — это самоубийство. Повернуть назад? Придется развертываться на месте. Тогда жди вторую болванку в

борт. Не успеют в борт — ударят в мотор. Броня сзади нежнее.

Он что-то колдует над паутиной разорванных осколками проводов. Пробует здоровой рукой рычаги. Выжимает сцепление. Мотор оживает. Машина сотрясается от рокота двигателей. Но сколько бы Яковенко ни дергал рычаг, сколько бы ни выжимал газ, сердце самоходки работает в одном и том же неторопливом, замедленном ритме.

— Может, на первой попробуем, а? — спрашивает лейтенант. И по тону вопроса я понимаю, что совет мой ему не нужен. Просто он высказывает вслух свои мысли. После сильного нервного потрясения, которое благополучно кончается, люди часто становятся не в меру разговорчивыми: это я уже видел. Так и теперь.

— Давай попробуем назад, а? — Глаза лейтенанта загораются хищным огнем. — Только ты вылезай. Вдвоем зачем рисковать.

Я отрицательно качаю головой. Откровенно говоря, мне не хочется лезть под пули. Здесь как будто надежнее. К тому же я понимаю — Яковенко не до меня. Он по-прежнему продолжает говорить сам с собой:

— Машину бросать нельзя. Расстреляют ее. А так, может, не попадут. На худой конец, я вылезу через передний. А Шаронову все равно уже. Вот здесь он сидел, где я сижу. Вот видишь, какая дыра. А ты, Дорохов, выходи. Не хочу тебя на душу брать.

— Не пойду. Если подожгут, вы один не вылезете...

Говорю это как можно тверже. Я знаю, что говорю правду: ему и сейчас не вылезти одному.

Яковенко пристально глядит на меня своими добрыми карими глазами и тянется здоровой рукой к рычагам.

— Только бы сразу в борт не вленили. А там плевали... Там не страшно...

Самоходка вздрагивает, подается вперед, медленно трогается, на мгновение замирает на месте и начинает

неуклюже разворачиваться влево. Смотрю на побледневшее от напряжения лицо лейтенанта. На виске его вздулась синеватая ниточка. Она часто пульсирует. А рядом с ней проступают капельки пота. Они увеличиваются на глазах. Яковенко поворачивается ко мне, повторяет как заклинание:

— Только бы не в борт... Только не в борт...

— Стойте!..

Как снег на голову падает из люка Левин.

— Стой! «Фердинанды»!

Левин уже у пушки. Прильнул к прицелу. Он что-то крутит.

— Правее! Правее! — кричит он несвоим голосом. — Лейтенант, поверни обратно!

Прильнув к триплексам, Яковенко разворачивает самоходку, а Левин быстро отстегивает снаряд, ловко, заученным движением, вталкивает его в ствол и припадает к прицелу. Движения его порывисты и стремительны. Он весь словно пружина.

Днище самоходки внезапно дергается. Я едва удерживаюсь на ногах. Выстрел! А Левин уже у затвора:

— Помогай! Подавай снаряды!

Отстегнуть снаряд, приподнять его и втолкнуть в ствол — простая механика. Быть заряжающим может каждый. Но и тут нужен навык. Я где-то замешкался.

— Быстрее! Шевелись быстрее! — Глаза Левина загораются лихорадочным блеском. Он опять припадает к прицелу. Рука тянется к электроспуску. Толчок!

— Горит, сволочь! — радостно вскрикивает Сережка. — Горит! Поддай, Дорохов!

Мне кажется, он смеется. Коротко. Хохотнул — и опять замолк. Только на мгновение встречаюсь с ним взглядом и понимаю — он ликует от радости. Не верится, что передо мной Сережка Левин — тихий, неторопливый, медлительный старшина Левин. Это какой-то сгусток энергии. Он буквально дрожит от возбуждения. И в то же

время ни одного лишнего взгляда, жеста. Он словно слился с оружием.

Выстрел!

Еще один!

— Готов! И этот готов! — кричит Левин, не отрывая глаз от прицела. И мне вдруг становится обидно, что не могу выглянуть наружу, посмотреть, что там натворил «пушечный снайпер».

А Сергей долго-долго глядит в прицел, затем смахивает со лба пот, осторожно перешагивает через труп Шаронова и устало опускается на откидное сиденье. Взгляд его затухает, мрачнеет лицо.

— Одного за Шаронова, второго — за Егорку, — глухо говорит Левин. — Два «фердинанда» выползли. Как увидел, аж обомлел. Расстреляли бы они вас, как пить дать.

Он умолкает и, опустив голову, тупо глядит на Шаронова.

— Эх, Витя, Витя...

Яковенко выключил двигатель, и в машине тихо. Слышно, как тяжело дышит Левин. Откуда-то издалека доносится перестук автоматов.

— Что будем делать дальше? — спрашивает Яковенко после затянувшегося молчания. И сам себе отвечает: — Надо выводить машину назад. Вылезайте.

— Мне за Егоркой надо, — тихо произносит Сергей. — Не дойдет он один.

— Вылезайте оба. Быстрее!

Левин тяжело поднимается. Косится на меня.

— Ты, Саша, останься. В случае чего помоги лейтенанту. Давайте!..

Он подтягивается, ставит ногу на стальной брус и рывком выбрасывается из люка. И снова днище самоходки колотится нервной, порывистой дрожью.

— Ну что, трогаем? — лейтенант поворачивается ко мне. — Поехали... Лишь бы в борт не ударили...

Он налегает на рычаги, и я вижу через передний

люк, как земля начинает уплывать вправо. Машина нехотя разворачивается на месте.

— Ничего. Не успеет ударить, — цедит Яковенко сквозь зубы. И в его голосе и надежда, и злость, и упрямство.

Секунды тянутся целую вечность. Тревога лейтенанта передается мне. Втягиваю голову в плечи и, замерев, жду удара болванки. Но удара все нет. Все так же надрывно воет мотор. Все так же, дрожа всем корпусом, резкими рывками продолжает разворачиваться раненая машина.

— Немножко еще... Чуть-чуть...

Здоровой рукой лейтенант тянет за рычаг из последних сил. Что-то переключает, и стальная громада, согнувшись на месте, тяжело подается вперед.

— Всё. Тронулись, — говорит Яковенко и закрывает глаза. Больше он не смотрит, куда мы едем.

«Только бы подальше от этого места. Скорее туда — к спасительному леску, к балке, где не достанет снаряд. Скорее!..»

А лейтенанту становится плохо. Это заметно по пепельной бледности, разлившейся по его щекам.

— Ничего. Теперь доберемся...

Яковенко почти в забытьи. И мне становится страшно от сознания своего бессилия. Я ничем не могу помочь лейтенанту. Случись с ним обморок, и самоходка может завалиться в овраг. Я даже не сумею остановить ее.

Глаза лейтенанта закрыты, но рука, как и раньше, напряжена. На суставах пальцев, сжимающих ручку, появились белые пятна. Медленно, очень медленно сползаем мы с гребня высоты. Хотя поле уже идет под уклон, но проехали мы немного. Командный пункт Демина и Петрова остается правее. Яковенко взял влево — здесь круче уклон. Значит, быстрее окажемся в мертвой зоне, недоступной снаряду.

Через распахнутый люк доносится резкий, пронзитель-

ный звук, похожий на короткий гудок электрички, пропеснейся рядом. Яковенко открывает глаза.

— Болванка... От земли срикошетила...

Он налегает на рычаги грудью, помогает руке коленом, опять пытается переключить скорость. Через его плечо я тоже тянусь к рычагам. Начинаем действовать вместе. Но машина не слушается. Она по-прежнему не отзывается на наши усилия. По-прежнему еле-еле ползет.

— Выпрыгивай!..

— Успеем выпрыгнуть. Если и попадет, то в мотор. Нас не достанет.

— Я приказываю, — устало и неуверенно говорит Яковенко.

А мне и в самом деле начинает казаться, что болванка обязательно застрянет в моторе. Только надо пониже пригнуться — на всякий случай, если снаряд ударит в верхнюю часть самоходки.

Выглядываю в передний люк и чувствую, как неистово заколотилось сердце. Навстречу нам бегут Смыслов и Петров. Они бегут в полный рост, пренебрегая опасностью. Значит, все. Значит, нет ее больше — опасности.

— Наши бегут! — кричу лейтенанту в ухо.

Нагнув голову, он тоже выглядывает наружу. В верхнем люке появляется голова Смылова.

— Стоп, машина! Приехали! — весело кричит Юрка и осекается, наткнувшись взглядом на труп Шаронова.

Яковенко бросает рычаги. Бледный до желтизны, он бессильно откидывается на сиденье.

С трудом выбираюсь наверх. Руки и ноги не слушаются. Они какие-то ватные. Сажусь на башню. От свежего воздуха кружится голова и в глазах мельтешат красноватые пятна тумана, которые рассеиваются медленно, нехотя... Вижу, как Левин — раздетый, в одной гимнастерке, — словно ребенка, несет Егорку, прижав его обеими руками к своим орденам и медалям. Старшина пошатывается под тяжестью ноши. Лицо у него напря-

жесткое, словно каменное, и такое же белое, как его волосы.

Он бережно опускает Егорку рядом с машиной и садится возле него на холодную, стылую землю.

КОГДА ПЛЯШУТ ГРАММОФОННЫЕ ТРУБЫ

— Дорохов, к командиру полка!

Застегиваю непослушные крючки шинели, затягиваю ремень на последнюю дырку и бегу к командирской машине. Полковника я побаиваюсь все больше и больше. Какой-то он странный. Особенно непонятна его манера разглядывать. Осмотрит, пристально взглянется в тебя, ничего не скажет и отвернется. Глаза его всегда прикрыты очками, поэтому никогда не определишь, что он думает.

Демин остался без адъютанта и ординарца и вот уже который раз вызывает меня. И всегда сначала разглядывает, изучает. И лишь потом, молча — рукой или клюшкой — делает знак, чтобы шел за ним.

— У полковника глаз наметанный. Будешь ты у него ординарцем, — сказал мне сегодня Зуйков. И добавил с завистью, которую даже не пытался скрыть: — Парень ты грамотный — читать и писать умеешь. А сапоги чистить научись...

За это он получил затрещину. Но слова его заставили меня призадуматься: во-первых, со стороны виднее, а во-вторых, я и сам этого опасуюсь.

Командир полка стоит у машины с капитаном Петровым. Оба склонились над картой, разостланной на броне.

— Товарищ полковник, ефрейтор Дорохов явился по вашему приказанию!

Оторвавшись от карты, Демин не спеша поворачивается ко мне всем телом, и спрятанные под очками глаза ощущают мое лицо.

— Пойдете со мной, товарищ Дорохов. Подождите.

И к манере полковника называть солдат товарищами и по фамилии я тоже никак не привыкну: это звучит на-смешкой. И в самом деле, он полковник, а я ефрейтор. У него в полку самое высокое звание, а у меня самое маленькое — одна лычка. Да и по возрасту он старше меня раза в три.

Мы спускаемся в балку, которая огибает нашу высот-ку, и направляемся к передовой. Демин идет впереди, словно измеряет длину тропинки своей рыбиной-клюшкой.

Здесь тишина и покой. Деревья застыли перед нами, как солдаты перед высоким начальством. Не шелохнется ни один кустик.

— Ты откуда родом, товарищ Дорохов?

— Из Горьковской области.

— Нижегородский, значит?

— Так точно.

— Волгарь? — он с ухмылкой косится в мою сторону.

— Нет, товарищ полковник. У нас в селе речка назы-вается Пьяной. Она в Суру впадает. А Сура уже в Волгу.

— Это за что же ее Пьяной прозвали?

— Не знаю. Извилистая она больно. Может, за это. Только не Пьяная, а Пьяна...

— Ты комсомолец?

— А как же! С сорокового года.

— Ух ты! Значит, и стаж уже есть. Целых три года.

Впереди на тропинке появляется молоденький лейте-нант с группой солдат-автоматчиков. Они сворачивают вправо и, пробираясь через кусты, взбираются вверх по склону. Демин провожает их задумчивым взглядом.

— А может, и нам тут подняться? — спрашивает он и, не дожидаясь ответа, сворачивает с тропинки.

Наверху у кромки кустарника останавливаемся. Демин осматривает раскинувшееся впереди поле. Только взвод автоматчиков выделяется на его белом холсте большим серым пятном. Полковник расстегивает планшетку, с

минуту смотрит на карту, прикрытую целлулоидом, и бросает, не повернувшись:

— Пошли.

Долгий пологий подъем. Именно отсюда начинали атаку танки и самоходки. Об этом напоминают полосы рубленого снега, смешанного с песком.

Автоматчики, ушедшие вперед, неожиданно разбегаются врассыпную, падают. Хорошо видно, как рядом с ними взвивается снежная пыль: откуда-то бьет пулемет.

Демин смотрит на уткнувшихся в мерзлую землю солдат с удивлением и любопытством. Первым поднимается лейтенант. Он взмахивает пистолетом и вприпрыжку бежит вперед. За ним, торопливо вскакивая и на ходу отряхиваясь, бросаются остальные. Только один остается лежать неподвижно, уткнувшись лицом в снежные кочки. Когда взвод скрывается за вершиной, полковник решительно шагает вперед. Он идет прямо на убитого.

Нет, неважную дорогу выбрал полковник. Ясно — этот участок пристрелян немцами. Но Демин не интересуется моими мыслями. Все так же медленно, не спеша отмеривает метр за метром его тощая коричневая «селедина».

Возле солдата мы останавливаемся.

— Убило, — говорит полковник задумчиво и... хватается за очки. Серый бугор стремительно поднимается. Вскочив и ошпарив нас взглядом, полным животного страха, солдат прыжками бросается вслед за своими.

— Струсил!.. Струсил, товарищ Дорохов, — после секундного замешательства тихо произносит полковник. И трудно сразу понять, к кому он относит эти слова. Если судить по взгляду — к солдату. А судя по тону — ко мне.

На самой вершине нашей высоты Демин беспокойно оглядывается по сторонам. Здесь мы идем быстрее. Внизу, в котловине, уже видны сгрудившиеся танки и само-

ходки. Там все перемешалось. На крохотном ровном пятчке машины стоят в пяти-шести метрах одна от другой. Из гущи бронированных черепах поднимается черный столб дыма. Это догорает тридцатьчетверка. Наверное, та самая, которая заканчивала свою последнюю атаку, охваченная пламенем. Рядом с ней дымится перевернутая башня. Словно каску с солдата, сбило ее с танка внутренним взрывом.

Навстречу нам бежит командир второй батареи. Легкий и стройный, лучший танцор полка, он и сейчас на этом кочковатом поле словно выделяет замысловатые па. Он бежит, едва касаясь земли.

Полковник выслушивает его на ходу.

— Приказ выполнен... Исходные позиции заняты. Потерь нет.

Из-за тридцатьчетверки появляется Грибан. Своей могучей фигурой он загораживает полковнику дорогу, как бы вынуждая его остановиться.

И снова доклад. Четвертая батарея потеряла одну машину. Командир — лейтенант Яковенко. Самоходка подбита, однако с поля боя ушла своим ходом.

— Яковенко ранен. А Шаронов убит, — обрывает его командир полка. — Заряжающий тяжело ранен.

Грибан с тревогой глядит на полковника:

— А как наводчик? Старшина Левин? Жив?

— Жив и здоров. Опять отличился. Приплюсуй ему два «фердинанда» и представь к ордену Отечественной войны. Какой степени — как сочтешь нужным.

— Есть!

Грибан начинает докладывать обстановку. Прислушиваясь к их разговору.

— Готовь машины к бою, товарищ Грибан, — неожиданно произносит полковник. — Это ведь не атака. Всем было приказано занять исходные позиции. Приказ выполнен. Вот отсюда и начнем наступление.

«Вот так штука! Оказывается, командир бригады

приказал сосредоточиться для будущего наступления здесь, в мертвой зоне, под самым носом у немцев. На маленьком пятачке для машин маловато места, зато отсюда удобнее нанести внезапный удар. А я-то думал, что наступление уже началось...»

Со всех сторон спешат к Демину офицеры. Его здесь ждали, знали, что он придет.

Небрежно отвечая на их приветствия, полковник проходит в самую гущу машин, опускается на дырявый обоженный брезент, разостланный возле самоходки, достает карту и повелительным жестом приглашает комбатов садиться рядом.

А меня окружают батареи.

— Ты вроде Панчо Сансой заделался? — с подковыркой спрашивает широколицый рыбой механик-водитель, похлопывая меня по плечу огромной танкистской перчаткой. Но я почему-то не злюсь. Не реагирую даже на его литературные «познания», не поправляю его.

— Некому полковника сопровождать. Вот и взял он меня.

— А может, он тебя сразу в адъютанты произведет?

— И звание, глядишь, присвоит!

— Это еще как дед поглядит. Он может и клюшкой вдоль спины наградить...

Настроение у всех хорошее — так всегда, наверное, бывает после удачного боя. Каждый шутит с претензией на оригинальность. Каждый старается вставить в разговор меткое или острое словечко. Кто-то окликает меня сзади:

— Дорохов! Бегом сюда!

Оборачиваюсь. Солдат в засаленном зеленом шлемофоне показывает на башню ближней машины. Смотрю и не верю своим глазам: Шаймарданов! Наводчик-татарин, который был ранен в один день и час с Липной, преспокойно сидит на самоходке у открытого люка и делает мне знаки, приглашая на верхокру:

— Сюда давай. Быстро!

Увидев, что я не двигаюсь с места, он возмущенно размахивает руками:

— Зачем стоишь! Не могу я к тебе ходить! Нога плохой.

Подбегаю к машине. Быстро взбираюсь на башню. Учащенно колотится сердце. Так бывает со мной в моменты предчувствия чего-то страшного, нехорошего.

— Ты как попал сюда? Тебя же ранило!

— Мало что! Рана всякий бывает. Я в санбате был. А как услышал: наступление начинается, испугался — в госпиталь отправят. Значит, в полк не пустят. А тут я свой. Лучше тут долечусь. А тебе плясать нада. Письмо дам.

Он расстегивает шинель и бесконечно долго роется в кармане гимнастерки, не решаясь вынуть оттуда сразу все содержимое. А мне действительно хоть пляши от охватившего нетерпения. Так и подмывает запустить руку в его карман, помочь ему. Вот наконец нащупывает и вытаскивает конвертик, сложенный вдвое.

— Вот. Сестра тебе.

— Какая сестра?!

— Из санбата.

— У меня нет никакой сестры.

Я хорошо понимаю, о чем он толкует, но еще не верю этому до конца.

— Ты мне шарик не закручивай. Сестра тебе передать велел. Уши мне прожужжал — тебя поминал. Ух, хороший девка! Сама раненый, а сразу за нами ходить-кормить, поить, перевязывать...

Больше я не слушаю. Не до этого. Разрываю крохотный конвертик. Он заклеен мылом или картошкой: поддается легко, иначе я разорвал бы его своими нетерпеливыми, трясущимися руками.

Шаймарданов глядит на меня с изумлением:

— Ты что побелел?!

Но для меня уже нет окружающего, нет Шаймарда-

нова, нет Демина, никого и ничего нет, кроме этого малюсенького листочка, исписанного микроскопическим почерком:

«Саша, милый!

Вот и узнала я твою полевую почту. Встретила однополчанина твоего, который знает тебя. Вернее, не встретила, а мы с ним вместе сюда приехали... Ты не беспокойся обо мне. Не волнуйся и не расстраивайся. Все хорошо. Меня оставили в корпусном санбате. Это к счастью. Значит, вернусь к своим. К тебе вернусь!

Саша, милый! Даже не верится, что получу от тебя письмо. Буду считать дни и часы. Поэтому обещаю, что напишешь сразу.

Ранка заживает. Здесь в первый же день вытащили два осколочка. Один совсем с ноготок, другой чуть побольше. Встретимся — покажу. Об одном прошу — береги себя! Слышишь? А еще — жди. Скоро я прилечу. Именно прилечу! Ты понял? Целую. И еще целую. Лина».

И думал я, и загадывал, и ждал с нетерпением, от кого, от какого родного и близкого человека — от матери, от отца, от брата или от друзей-одноклассников получу на фронте первую весточку, первое письмо или открытку. И вот получил. Хочется поцеловать этот тоненький и мягкий, как промокашка, серенький потертый листочек. Осматриваюсь вокруг и натываюсь на выжидательный взгляд Шаймарданова.

— Она твой невеста, да? — спрашивает он вполголоса, словно боясь, что его услышит кто-то другой. Но здесь, на машине, больше никого нет. Не дождавшись ответа, Шаймарданов говорит так, как будто доверяет мне великую тайну:

— Она хороший девка. Жениться хочешь — не найдешь лучше. Я тебя старше. Говорю точно...

К группе командиров орудий, стоящих неподалеку от нас, тяжело припадая на трость, подходит Демин.

— Как самочувствие, товарищ?.. — Он изучающе огля-

дывает коренастого лейтенанта, которого окружили и о чем-то наперебой расспрашивают офицеры. Скривив припухшую губу, на которой еще не засохла как следует кровь, лейтенант опускает руки по швам и натянуто улыбается:

— Отлично с плюсом, товарищ полковник!

— А губу где прищемил?

— Он с осколком поцеловался.

Раздается раскатистый смех. Оказывается, и правда, лейтенанту задело губу осколком.

— Это что-то новое — осколки губами ловить, — серьезно говорит Демин. — По-моему, они не ахти какие вкусные. Не как вареники?

И опять все смеются.

Обратно возвращаемся тем же путем.

Нет, не понимаю я командира полка. Мне известно о нем немного. Жена и дети живут в Челябинске. У него орден Ленина и три ордена Красного Знамени. Четыре раза ранен. Таких на фронте уважают с первого знакомства. А Демина? Во всяком случае Петров и Грибан его не любят — за сухую официальность, наверное? А может быть, и за то, что к офицерам он относится куда строже, чем к нашему брату солдату?

На месте, где час назад обстреляли взвод автоматчиков, нас останавливает пронзительный свист одиночной мины.

Взрыв не опасен — далеко впереди. Ускоряем шаг и сразу словно натываемся на препятствие. Одна за другой падают мины. Они свистят, шипят и грохочут, преграждая нам дорогу черным валом огня и дыма. Кажется, прямо над нашими головами кто-то с огромной силой раздирает мерзлую парусину. Кусты разрывов вырастают все ближе и ближе. Полковник опускается на колени, мельком оглянувшись, грузно падает на живот. Я делаю то же.

Когда взрывы отдаляются в сторону и становится немного потише, Демин поворачивается на бок:

— Пожалуй, пойдем, товарищ Дорохов?

Голос его спокоен, будто никакой опасности нет и в помине. Мы поднимаемся и... падаем снова. Похоже, на нас обрушивается само небо. Мины с воем вспаривают неподатливый воздух. С лету вгрызаясь в твердую землю, они захлебываются от бессильной ярости и с гулом рвутся в каком-нибудь десятке шагов. Одна, другая, третья... десятая. Осколки, пронзительно взвизгивая, проносятся справа и слева, сзади и спереди. Черная стена дыма вдруг подскакивает к нам вплотную, и мы оказываемся в самой гуще разрывов. Все сливается в сплошной грохот и вой.

Прижавшись щекой к острой ледяной кочке, кохнусь краешком глаза в сторону. Словно кто-то огромный и невидимый в одну секунду с силой втыкает в землю множество граммофонных труб. Все одинаково черные, они несколько мгновений пляшут на своих коротеньких ножках, воздев жерла к небу, и оглушительно, громоподобно грохочут. От этого грохота по коже пробегает мороз, а на затылке шевелятся волосы. «Неужто придется погибнуть здесь, на высоте 202,5, которую мы все-таки отстояли?..»

Еще крепче вдавливаюсь в землю. Это происходит само собой, инстинктивно. Мозг работает лихорадочно. Мысли несутся, наталкиваясь одна на другую. И все мрачные, страшные.

Вот она, пляска смерти. Теперь образ костлявой старухи с косой за плечами для меня навсегда померк. Пусть он останется на совести художников и поэтов, которые его выдумали. Только бы остаться живым. И тогда я сам могу рассказать им, как выглядит «старая». Вот она, рядом, в виде грохочущих труб, сотканых из смердящего черного дыма, которые, кривляясь и корчась на кривых коротеньких ножках, то подступают вплотную, то

вдруг отскакивают прочь. И грохочут, грохочут, грохочут...

В самый разгар крутоверти, когда нас накрывает сплошная темная пелена, меня охватывает ощущение обреченности. Сколько это длится — не знаю. Но, так же внезапно, как и начался огневой налет, все смолкает в одно мгновение.

Медленно поднимаю глаза на распростертого рядом командира полка. Оказывается, он пристально наблюдает за мной.

— Ты не ранен, товарищ Дорохов?

— Нет...

— Может, пойдем?..

Молчу, оглядываясь вокруг. Все поле в круглых черных колдобинах. И только клюшка как ни в чем не было поблескивает желтым боком в нескольких метрах. Полковник приподнимается на колено. Быстро вскакиваю, хватаю «селедину», без которой ему не подняться, протягиваю ее хозяину. Демин встает с трудом. На лице — напряжение. Щеки покраснелись. На лбу засинели прожилки вен. По всему видно — он предельно устал. И только глаза, глаза... Я не сразу понимаю, что он уже без очков. Когда протягиваю клюшку, наши взгляды встречаются. Он смотрит на меня виновато и признательно. Так смотрят на человека, оказывающего большую услугу. Прежде чем тронуться дальше, он благодарно кивает мне.

Всего лишь один молчаливый кивок. Но я понимаю его как благодарность — неожиданную и потому приятную вдвойне.

Проходим несколько шагов, и снова начинает вибрировать воздух. Клюшка будто на крыльях отлетает далеко в сторону. Полковник опускается на колено и опять падает животом и грудью на острые комья земли. Теперь уже я наблюдаю за ним. Он лежит, не вздрагивая даже

тогда, когда мина грохочет в нескольких метрах, когда вслед за разрывом по спине и рукам начинают барабанить поднятые в воздух мерзлые комья, когда в лицо ударяет жаром.

И странное дело — вдруг вспоминаю стихи...

А я лежу в пыли,
И все осколки — мимо,
Мгновения мои
Отсчитывает мина.
Еще я не убит...
И яростно и живо
Мне все принадлежит
За пять секунд до варыва...

Что же это такое? Всего один раз прочитал я эти стихи. А они, оказывается, врезались в память. И вот всплыли, выплеснулись...

В перерыве между залпами Демин каждый раз поворачивается на бок и оглядывается:

— Ты не ранен, товарищ Дорохов?

В голосе его новые нотки — беспокойства, тревоги. Но я вижу, скорее, ощущаю — не за себя тревожится Демин. Он словно почувствовал вину за то, что втравил меня в эту историю.

— Нет, не ранен, товарищ полковник...

Волна горячего воздуха резко ударяет в лицо. Что-то с силой дергает меня за спину, рывком бросает в сторону. В ушах раздается тонкий ноющий звук, будто над самым ухом неумелый скрипач затянул фальшивую ноту... Наверное, я не сразу пришел в себя. Когда поднимаю голову, полковник смотрит на меня полулежа, опершись на локоть.

— Ты не ранен?

Теперь его голос совсем не тот — глухой, тихий.

— Что с автоматом?

Нет, все же это голос полковника. Только он еле

слышен и какой-то сиплый и дребезжащий. Я пытаюсь сдернуть со спины ПППШ, но в руках остается обрывок ремня. Автомат лежит рядом. Он переломлен надвое. Завтор выпал, вытянув за собой пружину. Осколок попал в надульник и, оставив на нем косую рваную отметину, как бритвой, срезал ремень. Машинально связываю расстрепавшиеся брезентовые концы. Но полковник приказывает:

— Брось автомат.

— Куда? Зачем? — Я не сразу понимаю его.

— Он больше не годен.

И в самом деле, зачем мне теперь этот кусок железа? Искореженный осколком, автомат отслужил свою службу. Отшвыриваю его в сторону. Жалко. Хороший был папашик. Безотказно работал.

Демин глядит на меня выжидательно и просяще. Я понимаю — у него больше нет сил, чтобы подняться и идти дальше.

— Давайте поползем, товарищ полковник.

Он молча отворачивается, тоскливо оглядывает поле.

Я тоже смотрю вперед. И передо мной оживает картина охоты Левина «за блуждающим фрицем». Вот так же, как наблюдали мы за перебежками разведчика-гитлеровца, теперь, наверное, смотрят немцы на нас. Они ждут, когда влепят мины мне и полковнику в спины. Но им далеко до Сережки. Вон как измесили все поле. А мы все живы! Живы!!

А если убьют или ранят, ночью за нами придут свои: ведь мы на своей земле. От этой мысли становится немного легче.

Всего разумнее было бы поползти сейчас по-пластунски. Но разве я поползу, если этого не делает командир полка. И не бросишь же его одного. Нас почему-то учат, а сами ползать не могут. Кажется, я начинаю злиться. Но это злость не на Демина. Наоборот, меня не покидает

ощущение, что в эти минуты какая-то неуловимая ниточка крепко связала нас, перечеркнула разницу в возрасте, звании, положении. Сейчас мы оба равны. Нас породнила опасность смерти. И если обоим нам улыбнется фортуна и мы выберемся из этого ада, я больше не буду бояться его пристального строгого взгляда. Это я знаю точно.

Пританцовывая на ветру, к нам снова подкатываются извивающиеся в агонии клубки разрывов. Мины грохочут, фыркают, плюются огнем, осколками, обдают нас горячим, удушливо-кислым тротильным дымом.

Когда же кончится эта свистопляска? Неодолимо хочется вскочить и бежать. Подальше от этой страшной, раздирающей душу музыки. Но разве побежишь, если рядом лежит командир полка. Он даже не вздрагивает. А комья мерзлой земли по-прежнему бьют нам в спины. И песок хрустит на зубах. И поют руки, исколотые песчинками, словно иглами. И в ушах поет, звенит и скреблет. А черные граммофонные трубы все с большей силой втыкаются в твердую пашню. Угрожающе грохоча, сначала поодиночке, потом все вместе, они режут нам свой похоронный марш. Ревут все упорнее, громче, страшнее. Кажется, это конец... Мама... Прощай, мама. Лина, прости меня. За то, что не успел написать. За все... Из последних сил прижимаюсь к земле и к Демину. Припадаю щекой к его шершавой пинели. Заслоняю локтем висок и больше не думаю ни о чем...

— Ты не рапен? Кажется, кончилось, да?..

Полковник глядит то на меня, то на клюшку и задает вопросы неестественно спокойным тоном. Но даже в тишине, которая пастороженно замерла над высотой, его дребезжащий голос едва-едва слышен. Как будто он боится говорить громче, опасается, чтобы не услышало его и опять не разверзлось, не обрушилось на нас это удивительно спокойное и такое обманчивое небо.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЮНОСТЬ

— Ложитесь! — Юрка, выросший на нашем пути словно из-под земли, то приподнимается в рост, то приседает на корточки и машет нам обеими руками — делает знаки ложиться. Но полковника теперь не уложишь. Хмурый, осунувшийся, он шагает, не разбирая дороги. По-моему, Демин не видит Юрку, хотя идет прямехонько на него. Очки он все-таки потерял. Теперь он выбрасывает клюшку далеко вперед — так же, как это делают слепые.

Интересно, о чем он сейчас думает. Может, о том, что немецкие минометчики — паршивые снайперы. Ведь на этом расстрелянном пятачке они публично расписались в своем бессилии!

— Ты что тут делаешь? — спрашивает Демин Смылова, когда мы подходим к нему вплотную.

Юрка вытягивается, вскидывает автомат «на караул»:

— Товарищ гвардии полковник, меня послал к вам начальник штаба гвардии капитан Петров!

— Зачем?

— Встретить вас.

— Ну?..

Странно звучит это «ну?». Чего он хочет от Юрки?

Некоторое время они едят друг друга глазами. Каждый по-своему. Смыслов ждет, что скажет полковник. А Демин сверлит его взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Кажется, он сейчас ни за что ни про что обругает Юрку.

Полковник поворачивается, оглядывает вспоротое минами поле, на котором не осталось живого места. По его лицу пробегает мрачная усмешка. Похоже, что он только сейчас осознал, что все страшное позади, что мы вышли из зоны обстрела и теперь в безопасности. В упор уставившись на Смылова, он неожиданно командует:

— Марш отсюда!

— Есть, «марш отсюда!» — автоматически подхватывает Юрка. — Разрешите идти?

Демин, не отвечая, шагает прямо на него, и Юрка проворно отскакивает в сторону, уступая дорогу. Пошатываясь, отступаясь на кочках, полковник идет к штабной самоходке. Она по-прежнему стоит в той же глубокой выемке, словно подпирая своим длинным стволом одинокую искалеченную березку, которую безжалостно искромсали осколки. Березка вся на виду у противника. Поэтому ей и досталось. Ее кожа висит во многих местах потемневшими рваными лоскутами. Зато для самоходки не придумать лучшего места. Тут, в низинке, спокойно. Здесь мертвая зона, в которую, если верить законам баллистики, не должны залетать ни снаряды, ни мины, ни пули.

Мы с Юркой отстаем от полковника, прибавившего шаг.

— И чего он злится? — ворчит Смыслов. — Плясать надо, что вылез из такой передраги, а он злится... Может, за то, что не помогли. А как тут можно было помочь? Петров всех на ноги поднял, а засечь, откуда стреляли, не удалось...

Командира полка встречают у самоходки Петров, Усатый, офицеры штаба. Ни на кого не глядя, Демин подходит к машине. Бросает трость. Грузно опускается на ящики, которые трещат под его тяжестью. Вокруг него мгновенно смыкается плотное людское кольцо.

А навстречу нам с Юркой выходит только Зуйков.

— Здорово, Дорохов! — Он улыбается своей мягкой хитровой улыбкой и задает глупейший вопрос: — Ты живой?

— А ты?

Сержант удивленно моргает своими белесыми, как у поросенка, ресницами.

— Я что?! Мне ничего. Это в вас, а не в нас стреляли...

Он хватается за мою сумку:

— Вот это да! Смотри-ка! Одни опметки!..

Осматриваю свою верную кирзушку, о которой ни разу сегодня не вспомнил. Рядом с застежкой из большой рваной дыры выпирают клочья бумаги. Расстегиваю ремешок. Внутри все перекручено и изорвано. Русско-немецкий словарь, карта, тетрадки свились жгутом. С обратной стороны сумки отверстия нет. Вытаскиваю содержимое. словно драгоценный камень, вставленный в оправу из бумажных хлопьев, торчит в книжке отливающий синим блеском, весь в острых зазубринах продолговатый осколок, похожий на скрюченный указательный палец.

— Твой был, — говорит Зуйков. И торопливо предупреждает: — Не выбрасывай. На память возьми.

— Зачем?

— А затем. После поймешь.

— Повесь его на цепочку и носи на шее вместо креста, — с напускной серьезностью советует Юрка. — Это будет твой талисман. Он предохранит тебя от кары божьей. Так, что ли, Зуйков?

— Так или не так, а у Пацукова есть такой осколок. И с тех пор его ни разу не ранило, — невозмутимо произносит Зуйков. Но Юрка перебивает его:

— Насчет Пацукова точно. Ему под Харьковом осколок за пазуху влетел. Еще горячий. Шипель и гимнастерку пробил, а грудь только чуть царапнул. И провалился к ремню. Пузо ему обжигает, а он бежит, орет — не поймет, что ему попало за пазуху. Это все на моих глазах было. Потом он вытащил осколок и в бумажник спрятал.

— И хорошо, что спрятал, — произносит Зуйков. — Так оно спокойнее будет...

Зуйков говорит все это серьезным назидательным тоном. Он, видимо, и в самом деле верит в приметы. Протягиваю ему осколок:

— На, возьми себе. Хочешь?

— Не... Чужой братъ — последнее дело.

Чтобы не обидеть его, кладу осколок в карман.

— Ладно, сохранию.

— И верно, сделаешь, — удовлетворенно произносит сержант. — Ты Смыслова не больно слушай. Он над кем хошь посмеяться может. Он всех учит, а у самого молоко на губах не обсохло. Тебе, Смыслов, сколько лет-то?

Юрка останавливается, замирает, смотрит на Зуйкова округленными глазами:

— Постойте!.. Ведь у меня вчера день рождения был! Девятнадцать лет! Забыл!..

— Поздравляю, Юра. — Я протягиваю ему руку.

— Нет, мы должны отметить по-настоящему. У помпохоза по стопке выпрошу ради такого случая. И тебя, Зуйков, приглашаю, за то, что напомнил. Дорохов, пошли за горючим.

Помпохоза старшего лейтенанта Рязанова находим у штабной самоходки. Крупный, костистый, розовощекий, он о чем-то беседует с полковым фельдшером.

У Рязанова странное остроугольное лицо: острый нос, острый подбородок и даже ушные раковины идут кверху треугольниками и тоже заострены. Выражение лица у него всегда недовольное и колющее.

— Товарищ гвардии старший лейтенант, разрешите обратиться? — угодливо вытягивается перед ним Юрка.

— В чем дело? — Рязанов оборачивается. И я вижу, как его глаза в один миг делаются свирепыми. Он не дает Юрке договорить и шипит по-гусиному:

— Вы что в таком виде на глаза полковнику лезете? Думаете, мало мне одного выговора? Почему до сих пор не сменили шинели?

Он с опаской оглядывается вокруг и приказывает:

— Марш за мной! Быстро!

Прямо через кусты он ведет нас в овраг и продолжает распекаать на ходу:

— Шляются, как оборвыши, а я должен за вас вы-

говора хватать! Вы на себя поглядите! На кого вы похожи!..

Юрка довольно робко пытается ему возражать:

— Вы же сами обмундирование на передовую не завезли. В тылу всех одели, а мы здесь полмесяца босые и грязные под пулями ползаем.

Смыслов ничуть не боится Рязанова. Он бы и не так надерзил, если бы сейчас от него не зависел.

Подходим к студебеккеру, спрятавшемуся в гуще деревьев. Из кабины выскакивает плотный, краснолицый завскладом ПФС и сухощавый, длинный как жердь старшина — писарь штаба.

— Выдайте им белье и шинели! — кричит Рязанов.

Он смотрит на Юркины ноги:

— И ботинки Смыслову!

Оглядев меня, старший лейтенант приказывает:

— Подними ногу, ефрейтор! Правую!

Покорно приподнимаю свой разбитый ботинок, который давно просит каши. Подметка отстала. Она захлопала еще неделю назад, и я прикрутил ее проволокой.

— Обоим ботинки! — бросает Рязанов.

— Товарищ гвардии старший лейтенант, прикажите еще фляжку, — умоляюще просит Юрка. — День рождения у меня, честное слово...

Он сует руку за пазуху:

— Можете по красноармейской книжке проверить. Честно.

Рязанов пристально глядит на Смылова. Опять осматривает нас сверху донизу и в сердцах машет рукой:

— Идите вы к лешему! Шипулов, одень их с иголочки! И налей Смылову грамм триста. Авансом!

Он круто поворачивается и, не оглядываясь, шагает прочь.

Это великое счастье — ощутить каждым кусочком кожи, как мягкая чистая фланелька ласкает спину и грудь. Новая рубаша льнет к телу. Конечно, надо бы сначала

пополоскаться в горячей воде, помыться или хотя бы умыться. Да где тут умоешься, если нет воды.

Мы собираем с деревьев иней. Ледянистый, жгучий. В пригоршнях он тает почти мгновенно. Холодные капельки приятно освежают щеки. Юркино лицо, словно на фотобумаге, когда ее кладешь в проявитель, сначала покрывается белыми и темными пятнами, потом светлеет. Он утирается полой шинели, и с ним происходит удивительная метаморфоза.

Юрка становится совсем другой в этих блестящих толстокожих ботинках, в лоснящейся ворсистой шинели, а главное — в новой шапке, которая сразу преобразила его похудевшую, осунувшуюся физиономию. Подтянув потуже ремень, Смыслов расставляет в стороны локти и большими пальцами сгоняет к спине, к хлястику, складки шинели.

— Ну как? — спрашивает он, выпятив грудь.

Я показываю ему большой палец.

— Вот бы сфотографироваться сейчас, а? — с него уже слетела вся озабоченность. — Или хотя бы в зеркало поглядеться. В трюмо!

Юрка рисуется, а я смеюсь. Мне становится весело и легко.

Поднимаемся вверх по склону. Не шагаем, а почти бежим. Юрка с ходу поддает ногой спекшийся ком земли, останавливается, поворачивается ко мне.

— Знаешь, что мне сейчас хочется? Побриться. Первый раз в жизни. У меня на бороде три волосинки выросли. Вот погляди. Вот...

Он тычет себя пальцем в подбородок и, не давая мне посмотреть на его волосинки, забегает вперед.

— Подожди. Я стишки про бритье вспомнил. Я на отдыхе их со сцены читал. Вот послушай. Стой...

Он отскакивает от меня на несколько шагов, забрасывает автомат за спину и принимает позу артиста:

— Слушай... — Юрка задумывается. — Забыл! Нет, вспомнил! Вспомнил!

И он начинает громко, торжественно декламировать:

Еще не научившиеся бриться,
Мы в мир, пропахший порохом, вошли.
Над нами пули пели, как синицы.
Снаряды шли, крича, как журавли...

Он запинается.

— Дальше не помню. Выскочило... А вообще здорово!..

Я соглашаюсь: конечно же здорово, и главное — сказано будто прямо про нас.

А Юрка убегает вперед. Одной рукой он придерживает автомат, а другой с разбегу бьет по хрустящим веткам. С них осыпается иней. Он падает на его новенькую шапку, на погоны, на рукава и без того серебристой шишели.

Нет, не так уж много надо для солдатского счастья. Главное — почувствовать себя бодрым и сильным. Все остальное блажь, чепуха, все другое сразу отходит на задний план.

Садимся за самоходкой. Юрка бросает мне фляжку:

— Держи, пойду позову Зуйкова и закус организую.

Он уходит к кустам, где отсиживаются в щелях разведчики и телефонисты.

— Дорохов, к командиру полка! — кричат рядом, поза борта машины.

Мысленно клянусь себя за опрометчивость: «И угораздило же вернуться к машине! Сейчас опять полковник потащит меня за собой...»

Демин и Петров сидят с другой стороны самоходки, под пушкой. Перед ними на ящике нарезанный большими ломтями хлеб, две жареные курицы, огромная коричневая эмалированная кружка.

Демин опять в очках. «Сколько же у него очков?» Он чересчур внимательно, с явным интересом разглядыва-

ет меня сквозь толстые стекла. Что-то новое появилось в его лице. Ах вон что — он успел побриться. Помолодел. Но главное не в этом. Я вижу, воочию вижу — он улыбается, честное слово!

— Товарищ Дорохов, а погоны почему старые?

Не знаю, что ответить ему. А полковник уже поворачивается к Петрову.

— По-моему, ему стоит одну лычку добавить. Оформите, товарищ Петров. — И глядит на меня с хитрым прищуром. — А вот в дополнение к новому званию. Выпей за сегодняшний день. Мы с тобой теперь вроде крестники. Немцы сегодня нас окрестили...

Он протягивает мне пузатую кружку, в которой на самом доннышке плещется прозрачная жидкость — или спирт, или водка.

Если спирт, то я задохнусь — уже был такой случай. Я не могу его пить. Но понимаю, что теперь все равно придется отведать воницей и жгучей гадости — ведь это как поощрение.

— Спасибо, товарищ полковник.

Демин берет обеими руками курицу за поджарые попки-култышки. С хрустом разрывает ее и протягивает половинку мне.

Не хочется оскандалиться перед командиром полка и начальником штаба, и я хватаюсь за последнюю надежду:

— У нас своя есть водка, товарищ полковник. Вот. — Я показываю фляжку, которую по-прежнему держу в левой руке.

— Откуда?

— У Смыслова день рождения, товарищ полковник. Ну... мы выпросили немножко.

— У Рязанова?

— Так точно!

— Ну что ж, выговор ему обеспечен, — спокойно про-

износит полковник. — Не забудьте оформить, товарищ Петров.

— Надо бы сюда и Смылова позвать, — говорит капитан, обращаясь ко мне, и спохватывается:

— Разрешите, товарищ полковник?

— Зови, зови своего любимчика, — ухмыляется Демин.

Юрка не заставляет себя долго ждать. Как будто услышав слова командира полка, он тотчас появляется из-за самоходки. Вслед за ним торопливо шагает Зуйков. Он преданно заглядывает Смылову в лицо и что-то говорит, оживленно жестикулируя. Но, увидев Демина и Петрова, сержант спотыкается, останавливается и, спрятавшись за Юрку, поспешно пятится назад, за машину.

— Ты что же, Смыслов, молчишь? Сколько тебе сегодня стукнуло? — спрашивает полковник.

— Девятнадцать. — Юрка с удивлением косится на кружку, которую я так и не решаюсь поднести ко рту. — Только не сегодня, а вчера. Закрутился. Забыл...

— А тебе, Дорохов, сколько?

— Восемнадцать, товарищ полковник.

— Восемнадцать, — задумчиво повторяет Демин. — Это же сама юность, товарищ Петров... А мне восемнадцать под Царицыном было. Помню, после боя командир роты выстроил нас, юнцов, и поздравил с началом боевой юности. Он говорил, что юность не годами измеряют, что она начинается с первого полезного дела для Родины. Хорошо говорил! На всю жизнь я это запомнил. Вот и у них, выходит, юность только здесь началась. На этой высоте они первую пользу Родине принесли...

Полковник как-то странно глядит на Смылова. Я не пойму его взгляда. Он как будто взволнован.

— Видишь, капитан, как история повторяется. Новое поколение — новые битвы... — произносит он глуховато, негромко. Демин снимает очки. Повертев их в крепких

пальцах, опять водружает на место. Точно — это уже верный признак волнения. Но он сразу же берет себя в руки.

— Ну что ж, вот и выпейте за боевое начало юности. Выпей, товарищ Дорохов!

Глотаю из кружки. Спирт! Горло обжигает огнем, останавливается дыхание. Рывком протягиваю кружку с остатками спирта Смыслову и остервенело вгрызаюсь в мягкое пахнущее чесноком мясо. Успеваю заметить — вторую половину курицы полковник протягивает Юрке. Слышу его слова:

— Молодость один раз у человека бывает. Выпей, товарищ Смыслов...

Лес сотрясается от оружейных залпов. Он в один миг сбрасывает с себя белую маскировку из инея. Оголяются кусты и деревья. Становятся видны темно-серые узловатые переплетения ветвей.

Полковник встает, поправляет очки, отворачивает рукав шинели, глядит на часы, многозначительно оглядывается на начальника штаба. И в это время вздрагивает и начинает ходить ходуном земля. Она словно хочет уплыть из-под ног. Воздух упруго бьет в уши, давит на барабанные перепонки. Через наши головы, через высоту, шипя, фыркая, ввинчиваясь в воздух, летят снаряды и мины.

Вот и кончилось затишье на нашем фронте. Самоходки, гаубицы, полковые минометы, «катюши» грохочут сотнями, нет, тысячами стволов!

Ничего не слыша, не разбирая Юркиных слов, бегу к березке, чтобы увидеть своими глазами, что творится там — впереди, на подступах к вражеским укреплениям.

Линия траншей, опоясавших Омель-город, вся потонула в черном дыму разрывов. Снаряды и мины ударяются о бруствер. В нем уже видны просветы-зазубрины — следы прямых попаданий... И дальше, за окопами и дзотами, на белом поле с каждой секундой все больше появляется черных дымящихся конусов. Полоса разрывов

отсекает немецкой пехоте пути к отходу, замыкает вокруг нее кольцо смерти. Неподалеку, в кустах, заиграли «катюши». Их змеиное шипенье, разрастаясь и ширясь, властно врывается в гул канонады и, на мгновение заглушив его своей мощью, разносится над высотой раскатистым хлестким ударом грома.

Не могу понять одного — сколько все это длится. Неумолчный давящий грохот не дает сосредоточиться, собраться с мыслями.

А огненный вал отскакивает дальше — к крайним хатам деревни. И вслед за ним, ему вдогонку, вверх по крутому склону начинают взбираться тридцатьчетверки.

— Прорвали! Прорвали, товарищ полковник! — возбужденно кричит с машины кто-то из офицеров. Демян просит у Петрова бинокль. Но и так видно, как переваливают танки и самоходки через траншеи, обручами опоясавшие вражескую высоту. Не задерживаясь, они устремляются дальше — к окраине Омель-города, до которого оттуда рукой подать.

...Затишают последние залпы орудий. Но напряженная звенящая тишина длится недолго.

В лесу начинают урчать моторы. И все вокруг нас приходит в движение. Выскочил из кустов и стремительно умчался вперед юркий приземистый виллис. Выползают из леса «катюши». Выезжают из-под дубков студебекеры с солдатами в кузовах и минометами на прицепах. Вслед за ними, подергиваясь на бороздах, торопится крытый трудяга-газик. Машины и люди спешат в прорыв...

— По машинам!

Это подает команду Петров.

К нему подскакивает Юрка:

— Товарищ капитан, разрешите вместе со всеми. Не хотим мы в тыл!..

— А баня?

— Мы уже переоделись, товарищ капитан. Видите?

А попаримся там. Там жарко будет, — Юрка машет варежкой в сторону передовой.

Петров согласно кивает и показывает на самоходку. Мы с разбегу вскакиваем на нее, забираемся на башню. Юрка кричит в темный люковый проем:

— Серега, одолжи автомат Дорохову! Свой у него миной расколотило. Быстрей!

Снизу протягивают ППШ. Вынимаю увесистый диск. Можно не раскрывать — набит патронами до отказа. Для первого боя хватит. Кладу автомат на колени и последний раз смотрю на высотку. Вся в темных болячках минных разрывов, вдоль и поперек исполосованная шрамами гусеничных следов, израненная, искалеченная, она как будто сторбилась от невыносимой боли...

Но не долго ей оставаться такой. У нее есть хороший доктор — зима. Ударит она по этому полю снежными залпами, запорошит, перепояшет его своими белыми бинтами-сугробами и сразу укроет все его раны. А придет весна — и вылечит лес. Она напоит живительным соком раненые деревья. Они воспрянут, оденутся зеленой шумящей листвой. Плохо одно — они немые свидетели войны и потому ни о чем не расскажут людям, не напомнят о том, что здесь было...

Нас одна за другой обходят машины с пехотой. Юрка приподнимается на цыпочках, чтобы получше разглядеть поле боя. Лицо его делается напряженным и вдохновенным. По нему нетрудно понять, что мысли его унеслись далеко-далеко. Он как будто хочет заглянуть за этот расстрелянный пушками почерневший бугор, увидеть за ним другие безымянные высоты, которые нас ждут впереди. И сколько же их еще будет?

...Огрызающиеся смертоносным огнем крутые курганы за Сандомиром. Захват немецкого города Бунцлау, где похоронено сердце Кутузова. Там, на чужой земле, совершит свой последний бессмертный подвиг наш комбат Грибан... Закованные в бетон и железо Зееловские высо-

ты — с их истерзанных вершин после яростного затяжного штурма увидим мы на горизонте Берлин... Будет и лесистая, вся в весенней зелени высотка под златоглавой Прагой — с нее громыхнет по последней фашистской колонне из своего орудия наш «пушечный снайпер» простой русский солдат Сергей Левин. Он вылезет из машины, когда вокруг не будет ни разрывов, ни выстрелов, снимет мокрую от пота пилотку, пригладит усталой рукой льянные волосы и, прислушиваясь к тишине, скажет нам удивленно, еще не веря в свои слова:

— Братцы... А ведь это конец!..

Все это будет. Но все это там — впереди.

А сейчас...

На самоходку взбирается Демин. Сам, без посторонней помощи! Он перешагивает через Юркины ноги, подходит к раскрытому люку, садится на край брони. Петров осторожно поддерживает полковника под руку, помогает ему спуститься в боевое отделение.

Все в порядке!

Капитан с грохотом захлопывает пудовую крышку люка и садится к нам за башню:

— Поехали!..

О Г Л А В Л Е Н И Е

	<i>Стр.</i>
Рейс в неизвестность	7
Приказы не обсуждают	20
В окопах	28
Что произошло в Нерубайке	39
«Зачем вам деньги?»	46
«Пушечный снайпер»	54
Лина	63
«У каждого своя высота...»	72
Нежданный хозяин	80
В лесу	89
«Языки» с неба	95
Допрос	105
Коммунисты	114
«Жить хочется каждому...»	126
Странный приказ	136
Разведка боем	144
Подкрепление	158
Расплата	170
Атака	177
Когда пляшут граммофонные трубы	195
С чего начинается юность	208

Геннадий Григорьевич Воронин

НА ФРОНТЕ ЗАТИШЬЕ

Редактор *А. Д. Шевченко*

Художник *Л. М. Гольдберг*

Художественный редактор *Г. В. Гречиго*

Технический редактор *Г. Ф. Соколова*

Корректор *Н. М. Опришко*

Г-32548

Сдано в набор 28.6.72 г.

Подписано к печати 12.3.73 г.

Формат 70×108¹/₃₂. Печ. л. 7

(Усл. печ. л. 9.8). Уч.-изд. л. 10.124.

Бумага типографская № 1

Тираж 100 000 экз. Цена 50 коп.

Изд. № 4/6041 Зак. 195

Ордена Трудового Красного Знамени

Военное издательство Министерства обороны СССР, 103160, Москва, К-160

1-я типография Воениздата, 103005, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Воронин Г. Г.

В75 На фронте затишье. Повесть. М., Воениздат, 1973.

221 стр.

Это искренняя, правдивая повесть о восемнадцатилетних, со школьной скамьи шагнувших в огонь Великой Отечественной войны.

Все для них — открытие неведомого: первый бой, первая фронтовая дружба и первая робкая и чистая любовь, которую оборвала война.

Автор юношей прошел в рядах Красной Армии от Правобережья Днепра до Берлина и Праги, поэтому так проникновенно и взволнованно пишет он о своих боевых товарищах — солдатах и офицерах самоходного артиллерийского полка. Некоторым из них — радисту Смыслову, наводчику Левину, командиру полка Демину, комбату Грибану, капитану Петрову — автор сохранил в повести их фамилии.

К ЧИТАТЕЛЯМ!

***Просим присылать отзывы об этой
книге по адресу: 103160, Москва, К-160,
Военное издательство.***

гваронин • на фронте затишье